«Ряд современных лингвистических парадигм, усиленно раскручиваемых зашедшим в тупик научным сообществом, подвергаются в работе Ю.В. Кобенко позитивно агрессивной, справедливой и хорошо аргументированной критике. Придерживаясь принципа «критика должна быть конструктивной», автор предлагает возродить концепцию «изучения объекта в среде обитания», сформулированную Э. Сепиром в его труде «Language and Environment». Как ни парадоксально, но именно такой подход даёт основания правомерного существования лингвистики в русле мультидисциплинарности, определяя не только знаковую сущность языка, но и его социальный статус. Работа выстроена логично, написана красивым языком, доступна для понимания даже неискушённым читателям. В ней чётко обозначены проблемы, определены задачи, границы и перспективы изучения объекта. Монография Ю.В. Кобенко, несомненно, инициирует широкую научную дискуссию».

«На страницах своей работы Ю.В. Кобенко убедительно возвращает языкознание в круг дисциплин эволюционного цикла, мастерски используя понятийно-терминологический аппарат смежных наук. Обосновывая преимущества средового подхода в языкознании сквозь призму междисциплинарного научного поиска, автор монографии решает важную и своевременную задачу: доказывает средовое происхождение языка как средства общения. Подкупающая стройность и многомерность рассуждений Ю.В. Кобенко приводит к закономерному выводу: язык не может существовать вне среды, которая, в свою очередь, всегда первична по отношению к логико-семиотическим процессам, обозначаемым речью и мышлением».

Рецензенты

Ю.В. Кобенко

ЯЗЫК И СРЕДА. ОПЫТ СИСТЕМАТИЗАЦИИ ДАННЫХ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ISBN 978-5-4387-0744-8

ЯЗЫК И СРЕДА. ОПЫТ СИСТЕМАТИЗАЦИИ ДАННЫХ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Ю.В. Кобенко

ЯЗЫК И СРЕДА

ОПЫТ СИСТЕМАТИЗАЦИИ ДАННЫХ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
**«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

Ю.В. Кобенко

ЯЗЫК И СРЕДА. ОПЫТ СИСТЕМАТИЗАЦИИ ДАННЫХ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Монография

Издательство
Томского политехнического университета
2017

УДК 81’27
ББК Ш100.3
К55

Кобенко Ю.В.

К55 Язык и среда. Опыт систематизации данных междисциплинарных исследований / Ю.В. Кобенко ; Томский политехнический университет. – Томск : Изд-во Томского политехнического университета, 2017. – 214 с.

ISBN 978-5-4387-0744-8

В монографии обосновываются преимущества средового подхода для перспектив отечественного языкознания. Значительная часть работы посвящена критике популярных подходов и направлений в парадигме современных лингвистических исследований. В центре рассуждений находится тезис о средовом происхождении языка и невозможности его существования вне человеческой среды обитания.

Труд адресован языковедам всех направлений, антропологам, социологам, культурологам и всем интересующимся проблемами современного языкознания.

УДК 81’27
ББК Ш100.3

Рецензенты

Доктор филологических наук,
профессор кафедры зарубежной филологии
Московского городского педагогического университета
О.В. Трунова

Доктор филологических наук, профессор
заведующая кафедрой делового иностранного языка
Сибирского федерального университета
Е.Б. Гришаева

ISBN 978-5-4387-0744-8

© ФГАОУ ВО НИ ТПУ, 2017
© Кобенко Ю.В., 2017
© Обложка. Издательство Томского политехнического университета, 2017

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....6

§1. КРИТИКА ПОПУЛЯРНЫХ ПОДХОДОВ В ЛИНГВИСТИКЕ.....16

1.1. Критика когнитивного подхода 24

1.2. Критика дискурсивного подхода 55

1.3. Критика компетентностного подхода.....65

§2. ПЕРСПЕКТИВЫ СРЕДОВОГО ПОДХОДА В ЯЗЫКОЗНАНИИ.....81

§3. СРЕДА И КУЛЬТУРА. ДУАЛИЗМ ПРИРОДЫ HOMO.....85

§4. ЯЗЫК В СРЕДЕ: РЕПЛИКАЦИЯ ИЛИ ВИРУС?.....94

§5. ТИПИЧНЫЕ ЗАБЛУЖДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ 123

§6. АНТРОПОЦЕНТРИЗМ VS. ЭВОЛЮЦИОНИЗМ 142

§7. ВАЖНЕЙШИЕ ФУНКЦИИ ЯЗЫКА. ЯЗЫК И ТРАНСГУМАНИЗМ 153

§8. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК В ФОКУСЕ СРЕДОВОГО ПОДХОДА.....161

§9. «ФИЗИКА» ЯЗЫКА.....175

§10. ГЛАВЕНСТВО СОЦИАЛЬНОГО В ЯЗЫКЕ 187

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 192

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.....203

Моему наставнику и учителю
профессору Л. Гётце
посвящаю

ВВЕДЕНИЕ

Чтобы выжить, человек должен[1] *был сотворить себе «вторую природу» – искусственно разработанный, адаптированный, дополнительный мир.*
И.Г. Гердер

Человеческую среду зачастую представляют себе в форме некоего купола, который невидимым сводом навис над человечеством, определяя его судьбу, деяния и чаяния. Читатель, наверняка, не раз сталкивался с расхожими цитатами неизвестных «классиков» вроде «*среда формирует личность / сознание / мышление человека*», «*для хорошего владения языком необходимо погружение в среду*», «*язык без среды быстро забывается*» и т. п. Действительно, в своих рефлексиях природы языка человек довольно часто интерпретирует определённые образцы коммуникативного поведения или прагматику языкового выбора через особенности и условия той среды, в которой существует сам. *Но что такое среда? Как она воздействует на человека и, главное, через что? Как связан с ней язык, и почему детерминантой любых языковых изменений выступает исключительно социальное измерение? Являются ли среда и культура синонимичными понятиями, и имеют ли они право друг друга дублировать? Как существует язык в человеческой среде, и какие условия необходимы для его функционирования и сохранения?* Ответам на эти и сопутствующие вопросы и посвящен данный монографический труд, в центре внимания которого находится язык в его самом широком понимании – как продукт сознательной деятельности человека, оборотная сторона мышления, знаковая система, способность и особенность *homo loquens*, итог так называемого «Большого культурного скачка», произошедшего около 40 тысяч лет тому назад[2], и т. д.

---

[1] В переводе цитаты веймарского классика эпохи позднего Просвещения А.В. Михайловым содержится неточность: глагол «*müssen*» во фразе «*[…] so muss er sich eine zweite Natur […] erst schaffen*» уместно перевести как «*вынужден*».

[2] По крайней мере, применительно к так называемой «референциальной речи», используемой для описания явлений, существующих не «здесь и сейчас», а в воображении говорящего. С началом «Большого культурного скачка» Р. Докинз соотносит появление в языке *homo* такого «программного обеспечения», как придаточное условия и союз «если», позволяющих строить гипотезы относительно того, что говорящий не может видеть в момент речевого акта, при этом саму речь учёный небезосновательно полагает более древним феноменом [Докинз, 2015, с. 50].

Главной причиной, по которой данная работа не появилась ранее, можно признать длительное и безраздельное господство лингвистики в вопросах определения сущности и функционирования языка; господство, которое данная научная дисциплина была обречена потерять и неумолимо теряет, несмотря на свою априорную фундаментальность. Очевидно, такой статус одной дисциплины, пусть и настолько обширной, как лингвистика, в области фузионирования нескольких научных отраслей, в том числе естественнонаучного характера, не может оставаться залогом прироста качественного научного знания долгое время. Это напоминает теорию государств, которые то превращались в сверхдержавы путём слияния множества этносов, то вновь дробились историей на сотни сопредельных княжеств. Однако лингвистику погубило в большей мере тщеславие языковедов, попросту не хотевших замечать достижений нейробиологов, палеоневрологов, антропологов, социологов и прочих эволюционистов, усердно и кропотливо выковывающих трудное, но заветное знание о языке, и, как представляется сегодня, ей уже никогда не будет принадлежать первая скрипка в симфоническом научном сочинении «Язык человека». Дело в том, что в период самоуверенного главенства на богато удобренной самодостаточным гуманитарным знанием и опытом почве лингвистики взошли и обильно разрослись откровенно конъюнктурные и практикующие бездоказательность направления так называемых «исследований», претендующие ни много ни мало на понимание глубинной природы языка, его истоков и связи с культурой.

Необходимо сразу оговориться, что не только тщеславие выступило роковой причиной потери лингвистикой статуса *princeps inter pares*, но и такое явление, как распространение религиозных учений. В советскую эпоху выполнение научных изысканий предполагало использование *научно-атеистического подхода* – единственно возможного основания для построения абстрактных моделей реальности – теоркконструктов. Сегодня научные исследования в гуманитарных науках массово проводятся людьми, не просто не стесняющимися своей религиозности, но и открыто прибегающими к положительному переносу особенностей мировоззрения на полотно научных «открытий». Такое странное и ничем неоправданное сопряжение взаимоисключающих

направлений человеческой деятельности и порождает подходы вроде когнитивного, дискурсивного и компетентностного, потрясающие своей идейной автаркией и нулевой аппликативностью для серьёзной и честной науки, однако сумевшие снискать себе славу среди невероятного количества псевдоучёных и вузовских приспособленцев[3].

Итогом «успешной» имплементации перечисленных подходов, замахнувшихся едва ли не на понимание святая святых – происхождения языка, стало беспрецедентное отставание науки о языке в решении вопросов языкового бытия в эволюции человека, поиски ответов на которые она давно и ревниво монополизировала: пока конъюнктурные лингвисты поструктуралистской эпохи любовались самоцелью своего существования, тиражируя бесчисленные диссертации, монографии и статьи о концептах, фреймах, дискурсах и компетенциях (учителей иностранного языка следует тоже относить к лингвистам; см. также пункт 1.3), в работах эволюционистов самого широкого профиля стали появляться сведения, противоречащие коллективному продукту конъюнктурных лингвистов, которые за всю жизнь так и не прочли ни одной книжки по антропологии, но не приминают включать термин «когнитивный» даже в работы, посвящённые вопросам лингвогенеза (см. об этом подробнее пункт 1.1). Пожалуй, стержневым и знаковым противоречием является полное отрицание эволюционистами ревностно охраняемого языковедами тезиса о «ментальном» происхождении языка, зиждущегося на наивном предположении о первичности духа по отношению к материи. Кропотливо же добытое коллективными усилиями

[3] Показательной, на мой взгляд, можно считать мою полемику в г. Москве в период работы XXXIII Ежегодного съезда германистов в марте 2016 г. с тремя типичными представителями указанных направлений, обладателями корочек кандидатов наук с несформированным научным мировоззрением. Неспособность оных хотя бы в порядке гипотезы отказаться от субстанции «бога» (безусловно, христианского) привела к порождению таких высказываний, как «*бог есть гипертекст*», «*бог есть совокупность концептов*», «*бог пронизывает всякую материю (в том числе и языковую)*», «*мышлением обладают только люди*», и демонстрации непростительных для кандидатов филологических наук пробелов в области теоретического языкознания. Полемика завершилась агрессивными нападками на научный атеизм как следствие полного интеллектуального бессилия «верующих учёных». Досаднее всего, однако, то обстоятельство, что у «плодовитых» апологетов сверхъестественного имеется масса учеников и единомышленников, «пустивших корни» не только в вузовской, но и в школьной среде, где они слывут «почитаемыми и выдающимися учёными», с портретированной улыбкой глядящими свысока на «отсталый» дарвинистский мир. Не оставляет сомнения, что банкротству гуманитарной традиции в лингвистике способствовали именно гуманитарные проблемы: инфляция образованности, должностное приспособленчество, имитация науки как условие выполнения эффективного контракта, религиозность тех, кто как раз призван нести в массы свет знаний, и пр. Значительную роль здесь сыграло и высокомерие языкознания по отношению к другим дисциплинам, изучающим язык, лишь по факту своей номинальной приуроченности к субстанции языка.

познание о латеральности процессов языка и мышления, восходящей к латеральности человеческой физиологии, недвусмысленно доказывает первичность звучащей речи по отношению к внутренней, т. е. мышлению, и напоминает не опровержение упомянутого тезиса, а скорее справку о профнепригодности всех когнитивистов-фреймологов, которые и не пытались ничего доказать, а просто *верили по умолчанию*, как в церкви, где их научили обходиться без доказательств. И хотя подобное поведение едва ли можно квалифицировать как научное, подобная практика отнюдь не является редкой, напротив, действующих «научных школ» только в России и среди них получателей грантов РГНФ, т. е. фактически господдержки, – невидимое множество, а значит, отставание, как минимум, доказано, и, как максимум, выгодно.

Урон, нанесённый отечественному языкознанию такими исследователями и их работами нельзя недооценивать: институт аспирантуры и докторантуры выглядит не как кузница профессиональных кадров, а инкубатор приспособленцев, способных лишь декорировать себя «павлиньими перьями» в виде дипломов, сертификатов и грамот, но на деле не могущих отличить морфемы от графемы; за годы постперестроечного «творчества» в языкознании сложилась ситуация, когда по-настоящему хороших работ – считанные единицы, основная же масса писала и пишет исключительно с целью соответствия квалификационным требованиям и только по *locus communis*, панически боясь не то что конфронтации, а одного лишь упоминания актуальных задач науки о языке. Критикуемые лингвисты создали в известной степени *собственную искусственную гердеровскую среду*, без которой им, надо полагать, не выжить. Данная метафора используется мной для иллюстрации превосходства животного в человеке над его «духовным», если последнее вообще может фигурировать в качестве единицы терминологического аппарата. Образование и реплицирование сред и их вариаций – неизбежный и закономерный процесс в онтогенезе *homo*, насколько бы неудобным ни выглядело данное утверждение. Недобросовестные лингвисты, избегая беспощадной научной реальности – своего рода естественного отбора, предпочли замкнуться в контуре понятных только им самим постулатов, доказательство которых либо не требуется, либо запрещается авторитетностью выдвиженцев.

В своей искусственной среде, созданной по определённым правилам и принципам, выживающие руководствуются особыми критериями отбора, что и выступает главной причиной её создания.

Вернёмся к современной науке о языке и её суррогатам. Реабилитация лингвистики в целом и лингвистов в частности мыслится сегодня не только и столько через раскаяние в излишней «плодовитости», не подкреплённой ни реальной востребованностью, ни сколько-нибудь убедительной верификацией полученных данных, а главным образом через кооперацию с дисциплинами, заслужившими упоминание в данной связи своей приверженностью строгим научным традициям: нейробиологии, генетике, антропологии, этологии как разделу зоологии, биологии и др. В данной ситуации необходима масштабная дискуссия междисциплинарной направленности, стержневой идеей которой будет сплочение честных и независимых исследователей с целью валидизации научного опыта последних десятилетий, переосмысления векторов научного поиска и генерации новых задач и направлений междисциплинарного характера, где *a priori* исключены единоличное главенство и самолюбование как порождения лимбической системы, доказывающие правоту воззрений И.Г. Гердера на человека как *homo inermis* (*Mängelwesen; человека ущербного*). Наряду с этим считаю неотложной мерой культивацию главного правила любого исследователя в научной и образовательной средах: ***не доказано – не существует***. Доказательство же следует считать тогда состоявшимся, когда предмет явственно и отчётливо различим с углов зрения различных подходов и дисциплин, т. е. существует объективно, а не в воображении исследователя.

Безусловно, признание преимуществ междисциплинарного подхода, который заявлен в каждой второй диссертации по филологическим и педагогическим наукам, для лингвистики будет столь же неизбежным, сколько горьким и унизительным, ведь её главенство в собственной исследовательской вотчине надолго и заслуженно утрачено, а уплата длительной контрибуции дисциплинам естественнонаучного цикла в размере 100 % объёма научной новизны не сможет вывести саму лингвистику не то что на паритетную позицию, но даже в сателлиты антропологии по одной простой причине: *язык никак не обеспечивает выживание особи homo вне человеческой среды*.

Следовательно, рассматривать язык вне средовой *анизотропии*, т. е. функциональной совокупности её ингредиентов, совершенно бессмысленно, однако другого исследовательского ракурса эволюция *homo* лингвистике, к глубочайшему сожалению, не оставила. Данное познание в корне меняет прежнее устройство парадигмы лингвистических учений, фундамент которой образовывала интралингвистика, а явления экстрапорядка рассматривались как равнозначные культурологическим. Перекалибровка научного аппарата лингвистики в результате использования настоящего (а не декларируемого в современных диссертациях) междисциплинарного подхода делает любые рассуждения о функционировании и структуре человеческого языка, в первую очередь, *экстралингвистически детерминированными* (см. об этом подробнее §§2–4, §10). Интралингвистика же не только лишается права на статус опоры лингвистического знания, – традиция, берущая, начало ещё в эпоху первых индийских грамматик в 1 в. до н. э. и по умолчанию продолжающаяся по сей день за неимением лучшей, – но и возвращается на своё естественное и законное место отростка экстралингвистики, призванного исследовать «механику» преимущественно внутренних процессов и зависимостей структурно-функционального свойства.

Вряд ли сегодня кому-то покажется логичным изучать язык не с информации о его «генетике», зоне распространения, количестве говорящих, международном статусе, а с инвентаризационного перечисления суффиксов и гласных фонем, однако под собственно лингвистическим по-прежнему понимается не само назначение языка, а набор деталей для его функционирования. Возможно, во многом задачей науки является «копание в деталях», непонятных и недоступных рядовым пользователям, но согласитесь: детали и инструментарий для сооружения скворечника, собачей будки и мастерка во многом сходны, но *принципиальное их различие состоит исключительно в назначении*. Похожее наблюдается и в языках: непохожими их делает не набор суффиксов и фонологический строй, а их средовая специализация, при этом, в какой бы учебник языкознания вы ни заглянули, навязчивый постулат о «коммуникативной надобности языка» остаётся незыблемым. Номинативная функция упоминается в лучшем случае порядком ниже, о связующей не пишет ровным счётом никто (см. подробнее о функциях языка §7).

Итак, назрела острая необходимость либо реконцептуализировать отечественную среду лингвистов путём изменения правил и принципов внутрисредового (научного) поведения либо, собственно, сформировать её заново, попросту взрастив новое поколение языковедов по требуемым лекалам. И тот, и другой варианты предполагают предельно болезненное отсечение самодостаточных областей так называемых «исследований», количественно превосходящих и даже подавляющих сегодня полезные направления научного поиска. На практике это вряд ли будет выглядеть безобидной перековкой «концептов» на «лексико-семантические поля», а скорее переплавкой сверкающих на солнце куполов на обороноспособные пушки или банальной перекалибровкой уже имеющихся «орудий». Последняя в частности означает, что настольной книгой многих лингвистов, как и педагогов, должна стать не библия, а учебники антропологии и этологии – разделов зоологии; что станет в разы меньше лабораторий «эффективной речевой коммуникации» и кафедр «межкультурной коммуникации», а с ними и работ по концептам и фреймам; что доказывать выносимые на защиту положения придётся, в том числе, при помощи спектрографов и магнитно-резонансных томографов; что буквально каждое слово в текстах жанров выпускаемых научных работ придётся, как говорят немцы, «*класть на чашу золотых весов*» (*jedes Wort auf die goldene Waage legen*), т. е. тщательнейшим образом взвешивать, если мы хотим, чтобы антропологи будущего хоть немного считались с лингвистическим знанием, которое выступает ни много ни мало экраном приверженности определённым исследовательским традициям – благородным или сомнительным.

Ведущая роль в данном процессе должна принадлежать, на мой взгляд, *средовой лингвистике* – молодому направлению науки о языке, зародившемуся и развивающемуся во многом благодаря оборонительной реакции научной общественности на раздувающегося «стероидного монстра» гуманитарных научных «открытий» с «миостатиновой гипертрофией» теоретической значимости и научной новизны. В её задачи входит не только круг вопросов, посвящённых особенностям функционирования языка *homo* внутри среды, но и роль своего рода защитного клапана от «инновационного» лингвистического новодела, целиком и полностью противоречащего всем познаниям о природе языка.

Но где же начинается средовая лингвистика? Вопрос настолько же закономерный, насколько и неизбежный, учитывая всю сложность сложившейся ситуации. Начинается она там, где доселе наблюдали лингвоантропологию, социолингвистику, прагматику, семантику и даже грамматику: *во всех направлениях науки о языке, где проявляются симптомы влияния среды на язык человека*. Повторно отмечу, что средовая лингвистика является экстралингвистически детерминированной, т. е. *ракурс наблюдения за явлениями и процессами будет интроспективным, т. е. предполагать погружение из среды в язык*, не наоборот (как это можно наблюдать, к примеру, в когнитивной лингвистике, см. об этом 1.1). Данный ракурс настолько обширен, что в нём исчезает не только сама лингвистика, но и соседствующие с ней гуманитарные области культурологии, социологии, психологии, педагогики и пр. По сути, средовый подход к описанию языковых процессов и явлений должен стать стержневым в парадигме лингвистических изысканий, учитывая то благоприятствующее этому обстоятельство, что *язык в отличие от самого человека*[4] *является без остатка средовым продуктом*. Перспективы средового подхода в лингвистике в общих чертах изложены во втором параграфе данной книги, а ниже приведён приблизительный список задач, которые и ранее относились к экстралингвистике, но интерпретировались в ключе разрозненных языковых дисциплин:

– описание и классификация коммуникативных сред;

– сравнение их генеза и специфики функционирования;

– интерпретация особенностей речи и мышления языковых индивидов и коллективов, обусловленных разнородностью и специализацией сред (от языка-макропосредника до идиолекта / идиостиля);

– изучение симптомов средовых влияний на различных ярусах (уровнях) языка;

– типология симптоматических явлений в условиях указанных влияний и т. д.

Таким образом, средовый подход не только выступает конкурентоспособной платформой для проведения лингвистических изысканий, но и носит парадигмальный характер для гуманитарных наук в целом.

[4] Следует оговориться, что под «человеком» в данном контексте понимается не личность, не «человек» в его литературной, религиозной, психологической и др. интерпретациях, а среднестатистический представитель вида *homo*, существующий дуально: биологически и культурно (см. §3, §10).

Несколько слов следует сказать о структуре и содержании предлагаемой монографии. В связи с многократным ускорением процессов в глобализирующемся мире и острым дефицитом времени у научно-педагогических работников подача материала в данной книге осуществляется модульно, т. е. посредством выделения относительно самостоятельных участков рукописи в соответствии с их тематическим или структурным наполнением. Не потому что в действительности между знаниями существуют демаркационные зоны – химия отдельно, физика отдельно. Отнюдь. Просто человеку удобнее усваивать обособленные, цельнооформленные отрезки знаний для предупреждения перегрузки кратковременной памяти. Весьма сложно удержать в голове всё то, что автор изложил на двухстах страницах заумными научными сентенциями, учитывая особенности человеческого забывания и обработки (фильтрации) информации: согласно кривой Эббингауза 60 % забывается (фрагментируется) в течение первого часа, точнее говоря, отторгается мозгом с целью самозащиты от информационного перенасыщения. Усвоение нового знания будет возможно лишь в случае компактного «упаковывания» материала в небольшие, но ёмкие разделы с обязательным подведением итогов предыдущих рассуждений, постоянным напоминанием того, о чём идёт речь, и системой «интерлинков», отсылающих чтеца к коррелирующим отрезкам рукописи, например: (см. об этом…). Модульный характер содержания даёт читателю, в рядах которого автор был бы рад приветствовать аспирантов и магистрантов, возможность знакомиться со структурными единицами (параграфами) данного труда в любой удобной для чтения последовательности.

Так как монографии, как и многие другие объекты и явления окружающего мира, эволюционируют в направлении полифункциональности, издатели предписывают авторам соблюдение ряда требований к современным монографическим трудам: ясность изложения, формульность и доступность положений, жанровая гибридность (критический, обзорный, аналитический, справочный характер подачи материала), информационная насыщенность и др. Именно поэтому собственно-лингвистические рассуждения об особенностях функционирования языка в человеческой среде предваряет целый параграф критических рефлексий современных подходов и направлений.

Впрочем, независимо от мнения издателя, любой автор по-своему представляет себе свой труд. Так каким же он был задуман? Просто хорошей книгой. «Хорошая книга» – это особый жанр научно-учебной или научно-популярной литературы, с позволения сказать, супражанр. Хорошие книги пишутся редко, но их отличает потенциал передачи актуальных и значимых квантов опыта, более известный как познавательность. К тому же их постоянно хочется перечитывать. Такие книги я встречал в различных областях знаний: от астрофизики до науки быть счастливым. Их создатели не просто умеют сообщать полезную информацию и делиться приобретёнными знаниями, но помогают их правильно организовать в знаниевой парадигме человека. Другими словами, хорошие книги *образуют* и *сообразуют* человека в гейновском смысле[5]. Ведь образование как процесс созидания культурной природы человека – это не сообщение хаотических и интересных одному лишь автору (педагогу) фактов, а их глубокая и многоуровневая систематизация через создание связей между ними, выступающих отражением сложной средовой анизотропии вокруг современного человека.

С надеждой, что предлагаемая книга будет для читателя полезной и познавательной,

Ю. Кобенко

(*Томск, июнь 2016*)

[5] В рассуждениях о гении И. Канта на страницах «Путевых картин» («*Reisebilder*») Г. Гейне пишет: «*Отсюда и талант его – понимать современность, настоящее, сообразоваться с его духом и постоянно пользоваться им, никогда его не оскорбляя*» [Гейне, 1982, 93 с.].

§1. КРИТИКА ПОПУЛЯРНЫХ ПОДХОДОВ В ЛИНГВИСТИКЕ

Так как сложившаяся в современной лингвистике ситуация недвусмысленно требует корректировки курса и научного аппарата проводимых изысканий, начинать рассуждения о связи языка и среды необходимо с критики существующих подходов и направлений. Во многом это обусловлено отсутствием кооперации между представителями различных научных дисциплин, так или иначе вовлечённых в решении лингвистических задач, а также практикуемой и достойной самого решительного порицания традицией знакомиться с работами только в собственной области знания: педагоги читают только педагогику, лингвисты – только лингвистику. В особенно вопиющих случаях аспирантам дают читать только опусы «местных» коллег, запрещая прикасаться к трудам «конкурирующей школы», за счёт чего в питательной среде неокрепших умов заблуждения предшественников реплицируются десятилетиями. Отсутствие свежего взгляда, узость восприятия и беднейший кругозор – вот главные враги современной лингвистики, которая, как и другие отрасли знания, должна оперировать естественным инструментом научного поиска – обоснованным сомнением.

Считаю праздным клеймение шарлатанства в виде воспитания в учениках позитивистского соглашательства с результатами трудов их руководителей, подмены исследовательского мужества конформистской мягкотелостью ради кафедральной ставки или красной «корочки», массового «стряпанья» работ, не подкреплённых реальной фактологией, апологетики пустоты, раздутой до формата науки, и т. п. Критикую я для того, чтобы, во-первых, начертить чёткую демаркационную линию, за которой науки нет, а во-вторых, синхронизировать полезный научный опыт языкознания с достижениями наук естественнонаучного цикла, объектом исследования которых выступает человек.

Вся история лингвистических учений изобилует подходами к описанию языковых явлений и процессов преимущественно интралингвистического толка. Убеждённость множества исследователей в том, что ответы на вопросы «*как функционирует язык?*», «*как он устроен?*» и «*как он возник?*» кроются внутри языка или внутри головы его «носителя», привела, с одной стороны, к атомизации языковой рефлексии, доходящей зачастую

до выделения структурных крипто- или архисистем психологического толка или мистификации природы языка («в начале было слово»), и к появлению тупиковых направлений исследований и подходов (когнитивного, дискурсивного, гендерного, кодового и пр.), с другой стороны. Следует, тем не менее, подчеркнуть, что при всей априорной зауженности предмета изучения структурно-функциональный подход продемонстрировал наибольшую научность и академическую строгость, во многом опосредовав ту знаниевую «подложку», которая имеется сегодня в арсенале честной лингвистики.

Таким образом, под критику (за нашу демаркационную линию) попадают следующие направления лингвистического «творчества»:

– *когнитивное (фреймовое)*;

– *дискурсивное*;

– *компетентностное*.

Гендерную лингвистику, самостоятельно загнавшую себя в угол и, вероятно, только поэтому избежавшую попадания в «чёрный» список, реабилитирует лишь её временная отдалённость от позднего лингвистического шарлатанства. Страшно подумать, каким был бы бастард этого направления и когнитивистики, случись им фузионировать в головах верующих кандидатов или докторов постперестроечного периода.

Язык человека представляет собой индивидуальный прожиточный минимум функциональных средств средового происхождения. Очевидно и ожидаемо, что у различных пользователей языка данный минимум будет отличаться. Взяв за пример любых двух женщину и мужчину, будь они хоть мужем и женой, прожившими вместе отрезок общей соссюровской синхронии в 50 лет, можно с уверенностью прогнозировать значительные отличия в индивидуальном наборе средств.

С другой стороны, в огромном мире почти наверняка найдётся пара разнополых пользователей, чей языковой инвентарь практически идентичен в силу различных обстоятельств (скорее всего, в силу предельной скудности палитры используемых средств), имеющих итогом вот такой стохастический феномен совершенно случайной схожести (возьмём здесь за основу не генетический, а лишь функциональный аспект речи, учитывая тот факт, что говорить эти двое могут на гомологически разных и неродственных языках).

Под большим знаком вопроса остаётся предположение, и выступающее несущей платформой гендерного направления, обусловлены ли различия в индивидуальном прожиточном минимуме именно половым диморфизмом *homo*. Во всяком случае, сколько бы то ни было убедительные тому доказательства на сегодняшний день решительно отсутствуют, что, собственно, и оставляет гендерный подход за границами рисуемой нами линии. Добавочной причиной для этого выступает всё тот же поиск «лингвогендеристами» языка внутри черепной коробки человека, делающий критикуемое направление совершенно непригодным для лингвистической науки.

Однако гендеристику оправдывает, в отличие, скажем, от когнитивистики, с позволения сказать, «честное заблуждение», ведь роковая ошибка, образующая её дисциплинарный каркас, допущена не ею, а ею просто списана, как во время школьного диктанта. Авторами ошибки и ложного подхода являются генеративисты, или коллективный Хомский, десятилетиями блуждающий в мрачных глубинах языкового сознания в надежде встретить заветный ответ на вопрос, как же *homo* удаётся порождать бесконечное количество грамматически правильных предложений? Ответ на данный вопрос можно прочесть в §5, посвящённом типичным заблуждениям о природе человеческого языка.

Следующая область, безо всяких сомнений оставляемая нами за разделительной линией, имела все шансы стать ведущей в разработке вопросов билингвизма, но вместо этого пала жертвой, как неожиданно бы это ни звучало, терминологической метафоры. Безусловно, поиск адекватного обозначения для определённых процессов и явлений сопряжён с ассоциативной деривацией, однако когда целые поколения переписывают откровенную глупость, не вникая в суть заимствуемого обозначения, это напоминает не науку, а скорее религию. С подобным мы столкнёмся в пункте 1.2, в котором критикуется дискурсивное направление с его приверженностью одному единственному термину (*sic!*) – «дискурс», что уже само по себе должно вызывать бурю негодований, вместо которой, однако, имеем толпы неофитов, переиздающих старые статьи по функциональной стилистике и леонтьевской речевой деятельности (так называемой «психолингвистике») с новомодными терминами «дискурс» и «дискурсивный».

Встречайте: «языковые коды», их «смешение», «переключение» и даже «*прыжки*» (*Code-Sprünge*), которые находим у уважаемого мной Д. Циммера в рассуждениях об инвазивном заимствовании англоамериканизмов в состав современного немецкого языка [Zimmer, 1997, с. 70]!

Не будем вдаваться в подробности того, кому первому пришла в голову «светлая» идея называть идиом в голове человека кодом[6], но суть всей «кодовой» апологетики такова: языки в голове выглядят как разные коды, которые человек вольно или невольно смешивает или переключает; иногда эти коды не поддаются управлению и начинают друг в друга проникать, т. е. «интерферировать» – ещё один термин, вызывающий своей мистичностью, по меньшей мере, умиление. Если одним из критериев научности исследования считается детализация его понятийно-терминологического аппарата, то «коды» с «интерференцией» не поддаются детализации уже более полувека, а это всегда вызывает справедливое недоверие и определённую дистанцированность.

Что же с кодами не так? Давайте вникать. В этом нам на помощь приходят многочисленные работы из области языковых контактов, которая, к счастью, не настолько «затуманена» постперестроечной мистикой, как вымещаемые за линию демаркации направления. Широко известно, что в результате контакта между литературными языками (см. об этом подробнее §8) в подавляющем большинстве случаев *заимствуются обозначения, дублирующие семантику уже имеющихся автохтонных слов,* ср. появление так называемых «модных слов» англоязычного происхождения в современной немецкой речи: *Nightliner* вместо *Nachtbus, Loser* вместо *Versager*. Данное познание недвусмысленно свидетельствует о том, что языку проще интегрировать иноязычные единицы в уже имеющиеся семантические контуры, нежели создавать новые, а значит никакого «переключения» в природе нет. Таким образом, слова любых языков существуют в одних и тех же структурах – лексико-семантических полях – вначале в статусе синонимов или вариантов слов, а позже склоняются к моносемии в результате действия языкового автоматизма «один знак – одно значение» [Якубинский, 1986, с. 31] для исключения внутрисистемной идеографии.

[6] Родоначальниками «кодовой теории» считаются в лингвистических трудах попеременно то У. Вайнрайх, то Г. Фогт, то Э. Хауген, то информатик Р. Фано.

Моносемия, или семантическое обособление, объясняется таким свойством диверсификации языковых систем, как ризоматичность: единицы определённого лексико-семантического поля языка-реципиента образуют *ризому* (фр. *rhizome* – «разветвлённость, корневище»; термин Ж. Делёза и Ф. Гваттари [Deleuze, Guattari, 1977]), добавление элементов которой (в частности путём заимствования) подразумевает автоматическое приобретение ими дифференциальных признаков, разрушающих парадигматические отношения синонимии и, следовательно, вариантность. В сравнении с синонимичными единицами другого языка элементы ризомы могут образовывать *расчленённое понятие*, зачастую переводимое гиперонимически (генерализовано) в случае отсутствия в другом языке похожей ризомы, ср. в немецком языке расчленённое понятие *Finger, Daumen, Zeh(e)* с русским нерасчленённым *палец*[7].

Каким образом билингвы говорят то одном языке, то на другом, аккуратно отделяя ризомы? Вопрос из раздела морфологии, но не языковой, а нейронной. Привычку говорить на каком-то языке нужно выработать, развить, упрочить, автоматизировать, ведь говорение само по себе не является данностью или врождённым свойством. Скорость речи, очень медленная у детсадовцев, многократно возрастает в подростковом возрасте, а с разрушением нейробластов (нейронных пучков) после 50 лет снова замедляется[8]. Слово языка – всего лишь сгусток нейронов, синапс в человеческом мозге, управляющий определёнными физиологическими функциями: артикуляцией, длинной акустической волны и т. д. Связи между синапсами изучает семантика, бессрочно забытая апологетами кодового и когнитивного направлений. Эти самые связи и создаются в процессе изучении языка: связи от русских слов ведут к другим русским словам, от английских – к другим английским и так до тех пор, пока не образовалась индивидуальная копия того, что в структурализме обозначается языковой системой. Конечно, существуют и случаи намеренного «сращения» разноязычных слов, например, для придания речи местного колорита, отличающего художественный идиостиль, но это скорее исключение из правила.

[7] Понятийная расчленённость выявляется в результате сравнительно-сопоставительного метода. Сама по себе система отдельного языка в её изолированном рассмотрении не даёт представления о наличествующих у неё расчленённых понятиях.

[8] Согласно С.В. Савельеву, разрушение нейробластов сказывается и на особенностях мышления, которое после 50 лет становится ригидным, однозначным, инертным [Савельев, 2014, с. 24].

Во многом создание семантических связей ускоряется путём копирования устойчивых речевых контуров – паремий, фразеологизмов, составляющих так называемую воспроизводимую (в отличие от реконструируемой) часть словарного фонда (см. подробнее §9) и значительно упрощающих линейную развёрстку речи – синтаксис. Квантитативная лингвистика выявляет и статистически фиксирует не только ближние (*collocations* – объективные, *co-occurrence* – субъективные[9]) семантические связи между словами, но и периферийные (*concordance*) в контексте отдельно взятого речевого произведения (текста).

В случае так называемой «интерференции» на нить синтаксиса нанизывается тот бисер, который больше подходит по значению (цвету, величине, композиции), что представляется вполне логичным и естественным. Прагматическая маркировка таких высказываний «*у нас это называют…*», «*в нашем языке это звучит как…*», «*по-нашему это будет…*» характеризует обыденные случаи «нанизывания» семантически более адекватной единицы, которая просто имеет другую генетику (морфологию), но *никоим образом не дисгармонирует с соположенными элементами речи, а качественно дополняет высказывание*.

Политехники на занятиях профессиональным немецким языком регулярно задают мне вопросы: «*Какая разница, например, между обозначениями разного рода аварий в немецком языке «der Unfall», «der GAU», «der Super-GAU», «der Störfall», «der Auslegungsstörfall», «der auslegungsüberschreitende Störfall», «der Bethe-Tait-Störfall», «die Kernschmelze» и «das Fall-out» кроме того, что последнее англоязычного происхождения?*», «*Как их лучше перевести?*», «*Как научиться их правильно использовать в речи?*» и др. Суть этих вопросов – семантическая организация усваиваемых немецких единиц в уже существующем нейронном поле (лексико-семантическом окружении) схожих по содержанию языковых средств. Включение заимствованной англоязычной единицы «*das Fall-out*» в немецкую и русскую речь во время занятия или за пределами учебной аудитории свидетельствует не об ошибочности самой опции, а о существовании расширенной полифункциональной ризомы с русскими, немецкими и другими элементами в её составе и, следовательно, укрупнённой семантике (эксемии) высказывания.

[9] К объективным связям следует отнести управление, а к субъективным – сочетаемость.

Якобы «случайное» или «ошибочное» появление иноязычных элементов в речевом потоке, каким его выставляют многие филологи-русисты и в особенности педагоги, вовсе не случайно и не ошибочно, а является следствием органического функционирования живой ризомы и индивидуальной особенностью речи говорящего. Возможно, метафорическое обозначение «интерференция», т. е. «наложение» физических волн или помех, и отражает какую-то сторону этого явления, но сегодня оно определённо устарело и к тому же снабжено негативной коннотацией ошибочности и избыточности. Видеть ошибку там, где её нет, зачастую лишь симптом профессиональной деформации личности педагога.

На этом физическую метафору можно было бы признать неудовлетворяющей даже минимальным квалификационным требованиям лингвистики будущего и с чистой совестью забыть, если бы ни одно «но». Апологеты «кодов» нередко используют её синонимично «языковому влиянию» или «языковому давлению» – терминам контактной лингвистики как ветви исторического языкознания (см. об этом §8). Здесь можно бесконечно приводить примеры «гениальных» вопросов членов советов на защитах контактологических диссертаций, отделил ли диссертант случаи лексического заимствования от «переключения кода», как завещал великий Э. Хауген в 1956 году, и отражено ли это в предлагаемой типологии? Защитив по заимствованиям две диссертации (в 2005 и 2013 гг.), я могу привести примеры настолько сногсшибательных вопросов, звучавших от велеречивых «специалистов по интерференции и переключению кодов», что вера читателя в справедливость и гуманность российских диссертационных советов может пошатнуться. Важно помнить следующее: использование в речи лексических единиц «коды» и «интерференция» маркирует тех самых верующих, творчество которых и образует сепарируемые от науки направления. Словами Э. Роттердамского, «глядящего на жизнь глазами Демокрита», «*глупость сама себя выдаёт*»[10], так будем же признательны «риторам нашего времени» за столь полезную самоиндикацию!

[10] В пятой главе послания Томасу Мору «Похвала глупости», выполненного в духе сатир Ювенала, находим: «*Всегда и всюду я неизменна, так что не могут скрыть меня даже те, кто изо всех сил старается присвоить себе личину и титул мудрости, – эти обезьяны, рядящиеся в пурпур, и ослы, щеголяющие в львиной шкуре. Пусть притворствуют как угодно: торчащие ушки все равно выдадут Мидаса*» [Роттердамский, 1960, с. 72].

Заключительный штрих перед обращением к заявленным «плохишам» посвящаем так называемой «лингвоперсонологии», внебрачному ребёнку диалектологии от, дай бог памяти, то ли текстоведения, то ли жанроведения, то ли лексикографии. Нагуляла диалектология ребёночка по молодости, по глупости: «бабушка»[11], носитель диалекта, была одна, а аспирантов, желающих писать диссертации и слыть «выдающимися» лингвистами, – много. Вот и получилось дитятко – ни дать ни взять – словарь одной личности, состряпанный из цельных двадцати часов записи «чистейшей» диалектной речи с «редчайшими» единицами идиоглоссария – жемчужинами народного фольклора (который, кстати сказать, является внебрачным сыном литературоведения, но русисты об этом не ведают): «*нафулюХанить*», «*регилиозный*», «*спинжак*», «*самеска*» (sms), «*скудент*» (студент), «*кенчуп*» (кетчуп)[12] и т. п.

Моя мачеха, растя трёх младших дочерей, прилежно вела журнал записей их детской речи. К тому времени, когда самая младшая пошла в школу, старый журнал из 96 страниц формата А4 был исписан вдоль и поперёк, включая поля и обложки. Примеры устного творчества были куда интереснее бабушкиных «*самесок*», так что, пользуясь моментом, хочу поприветствовать мачеху в рядах «выдающихся лингвистов». И хотя по образованию она была инженером и не подозревала о величине своего вклада в мировую лингвистику, свой прижизненный лингвистический минимум кандидата филологических наук она выполнила безотчётно, будучи заботливой матерью трёх «языковых личностей».

Как можно видеть, записывание устного творчества «бабушек» учёности отнюдь не прибавляет, даже если закрыть глаза на откровенно шарлатанскую подоплёку образования «лингвоперсонологии» – острый дефицит диалектного материала (см. также §6, §10).

И напоследок. Если бы авторы диссертаций по направлениям, оставляемым за демаркационной линией, действительно читали все те труды, которые заявлены у них в библиографии, то рано или поздно им бросились бы в глаза явные противоречия между «концептами» и «кодами», «интерференциями» и «компетенциями» и незарифмованность «фреймов» и «слотов» в сонете большой «концептосферы».

[11] Слово «бабушка» считается термином в современной отечественной диалектологии.

[12] Спорным представляется отождествление данных речевых продуктов, обнаруживающих все признаки идиолекта, с диалектной речью (см. об этом подробнее §4).

1.1. Критика когнитивного подхода

Представим себе человека, который стоит рядом с опускающимся мостом и произносит заклинание: «*Мост, опустись!*» Да, мост опускается, но по причине ли произнесённого этим человеком заклинания? Так же обстоит и с когнитивным подходом: имеется некая самодостаточная интерпретация, а знание и понимание «механики» процессов начисто отсутствуют. В любом случае, обозначать знанием то, что дедуцировано когнитивистами за менее двадцати лет свирепого, практически инквизиторского доминирования критикуемого подхода в отечественном языкознании, нельзя *по причине элементарной недоказанности существования* ни излюбленной ими «картины мира» в любых её вариациях, ни лоскутного одеяла концептов – «концептосферы», полагаемой ими то ли в голове человека, то ли совокупно в головах говорящего коллектива, то ли где-то в мистическом пространстве между человеком и «богом», ни тем более «фреймов» и «слотов», о которых речь пойдёт позже[13].

И дело даже не в том, что подход «от головы человека к социологии языка» принципиально неверный[14], а скорее в том, что он *идеален* для огромного количества вузовских выкормышей с неразвитым научным мировоззрением и, соответственно, с предельно узким исследовательским кругозором. Причины этого перечислены ранее, и нет смысла останавливаться на них ещё раз. Подчеркну, однако, что в среде адептов когнитивного подхода верующие встречаются куда чаще, чем в рядах социолингвистов и прагматиков, что свидетельствует в пользу мировоззренческих преимуществ научно-атеистического подхода и может выступать своего рода мерилом научной зрелости.

---

[13] Это характерно для любых «открытий», совершаемых под флагом когнитивной лингвистики. Так, в лаборатории когнитивных исследований Томского государственного университета в 2016 году в результате серии экспериментов на материале сообщений в соцсетях были получены следующие данные: «*Ласковые и браные слова оказывают существенное влияние на то, как женщины воспринимают информацию, в то время как для мужчин эмоциональная окраска речи практически безразлична*» (http://www.riatomsk.ru/article/20160308/tgu-vospriyatie-slov-zhenschinami/). Данные электрофизиологических измерений (кожно-гальванических реакций), магнитно-резонансной и позитронно-эмиссионной томографии, которые бы подтвердили научность утверждений о ***существенно*** изменённом эмоциональном фоне воспринятой информации, не упоминаются вовсе, очевидно, по простой причине их отсутствия. Остаётся загадкой, на основе каких показателей делаются выводы о различной эмоциональности в плоскости биологического диморфизма *homo*.

[14] Если б этот подход был верным, тогда мы могли бы говорить на всех языках, на которых говорили наши предки, однако, как известно, геном не сохраняет языковую, культурную и др. информацию средового происхождения (см. об этом подробнее в §3).

В моей статье «*Российские немцы в Томской области: критика современных лингвистических подходов и исследований*» (Минск, 2015) я отмечаю, что представители этого угрожающе разросшегося в отечественном языкознании направления используют в названия своих гесиодовых «трудов», неподтверждённых реальным научным запросом, расхожую номинативную схему «*Концепт такой-то в языке таком-то*» так же, как и менеджеры-мошенники используют хищническую схему наживы, прикрытую лживой рекламой, для заманивания и надувательства доверчивых покупателей. Под «амнистию» здесь попадают студенты и аспиранты филологических направлений, волею судеб угодившие в цепкие лапы заядлых концептотворцев, дискредитирующих не только себя, но и всю науку о языке в глазах представителей других научных специальностей. Поэтому наша общая задача – переориентировать таких пострадавших, пока лингвистика официально не превратилась в профессию приспособленцев и халтурщиков.

Указанная номинативная схема обладает выраженным нервнопаралитическим действием на обычных вузовских тружеников, честно отдавших полвека жизни практической грамматике определённого иностранного языка, т. е. его «ядерной» области (см. об этом подробнее §8) с присущим лишь ей средоточием всего самого важного и неотъемлемого в языке, но так и не обнаруживших ничего, хотя бы отдалённо напоминающего «концепты». Постановочный характер таких когнитивных работ-подёнок с заранее известной новизной, теоретической значимостью, структурой и перспективами (покрыть землю метровым слоем диссертаций по концептологии) способствовал появлению так называемых «исследований», посвящённых «концептам» „*лошадь*“, „*семья*“, „*баня*“ и даже «фрейму „*баранина*“ в телеутском языке». Мало того, концепт как типологическая величина начинает встраиваться адептами-концептологами в более сложную таксономическую сетку, в которой уже массово выделяются «макроконцепты», «микроконцепты», «гиперконцепты», «гипоконцепты» и даже «мегаконцепты». Очевидно, для того, чтобы плодовитые представители когнитивного направления стали считаться с необходимостью междисциплинарной верификации и апробации результатов своих «исследований», апогеем когнитивистских изысканий должна стать работа с названием «*Концепт „концепт“*».

Однако пока нейробиологами не обнаружен хотя бы один концепт в мозгу человека, все защищённые в отечественных диссертациях по филологии «концепты» считать доказанными нельзя. Ведь даже для звучащего языка *homo* в мозге имеются всего два нейроморфологических субстрата – зоны *Broca* и *Wernicke* (см. об этом также §5), однако на данном этапе эволюции лингвистическую спецификацию они имеют преимущественно в мозгу человека. В природе же ими обладают без исключения все млекопитающие, использующие их в самых различных целях в силу морфологической полифункциональности данных участков мозга. Каким образом попадают внутрь черепной коробки человека «концепты» и чем они морфологически представлены, когнитивная наука умалчивает[15]. Во всяком случае, даже сама культурология предпочитает «концептам» терминологические единицы «информация», «идеологема», «концепция». В зарубежной лингвистике, славящейся своей функциональной направленностью, термин «концепт» встречается лишь в значениях «план», «идея», «сгусток», однако даже в этих значениях его трудно заподозрить в лингвистической приуроченности (см. об этом также §5). Если слово, используемое в отдельной культурной среде, положим, русской, имеет достаточные материальные доказательства существования (звук, графика, тиражируемость, узнаваемость), а значение является его «пропуском» к речи, то сколько-нибудь внятные доказательства «концептов» совершенно отсутствуют, что противоречит главному принципу научного знания – доказуемости.

Однако фатальная ошибка всех когнитивистов отнюдь не знаниевой природы: это *коллективная вера в то, что сначала было представление о знаке, а уже потом образовался сам знак*. Не правда ли, подозрительно похоже на широко распространённое религиозное учение о первичности духа и вторичности материи? Безусловно, эта гипотеза уже заслуживает уважения, как и попытка выдать умозрение за факт, но один крохотный нюанс делает всю эту раздутую когнитивную философию непригодной для науки: чем же первобытные люди представляли,

[15] Это напоминает сконфуженное молчание верующих после откровений эволюционистов о том, что место для «души» в человеческом организме отсутствует, как, собственно говоря, и повод считать, что она вообще когда-либо могла зародиться в эволюционной цепи млекопитающих. Для этого она должна была не просто иметь решающее значение для эволюции, но и делать последнюю без собственной функции невозможной, а единственной вменяемой ей служителями культа функции общения с воображаемыми мистическими существами для эволюции млекопитающих явно недостаточно.

если не было знаков? Известно, что лингвогенез происходил латерально: знаки, их содержание и представления о них синхронизировались в среде с мозгом каждого пользователя языком, пока не образовалась коллективно практикуемая коммуникативная система знаков. Возьмём в качестве примера кириллическую букву А. Представление о ней исчерпываются её дифференциальными признаками, отличающими А от других букв алфавита (Б, В и т. д.), а значит, вне системы других знаков она не существует. Любые представления (семиозис) *символа* «*А*» в форме домика, шалаша, треугольника и т. п., являются вторичными по отношению к его собственной семиологической природе: первого знака алфавитной системы, соответствующего звуку [а]. Кроме этого, представление как обособление и дифференцирование чего-то частного из общего предполагает использование инструментов мышления, которые, в свою очередь, без самих знаков не существуют. А если нет знаков (признаков), то нет и мышления (внутренней речи) и уж тем более нет никаких представлений. Настаивая на обратном тирадами вроде «вначале был концепт „*любовь*“, а уж потом на него как на бархатную подушечку в виде сердечка нанизались острые английские булавки слов», собратья по разуму из когнитивного цеха порождают лишь очередное противоречие: *мы знаем всё о человеке, который ещё не родился*.

Образцы детской речи подтверждают несостоятельность таких утверждений (подчёркну: это речь молодых особей, растущих в полноценно функционирующей языковой среде, а не в первобытном сообществе «мычащих» каждый на свой лад): в намерении обозначить человека рядом с невестой (жениха) пятилетняя девочка пользуется принципом аналогии и производит слово «*невест*». Грамматически слово вполне жизнеспособное, имеет все необходимые категориальные атрибуты (как слова «*насест*», «*присест*», «*инцест*»). Но как сделать так, чтобы данное слово стало общим достоянием и обозначало именно то, о чём думает весь коллектив, а не отдельный индивид? Если пользоваться логикой когнитивистов, лучшее, что можно сделать в данной ситуации, это отменить существующую норму, чтобы создать новую, но выходящую уже не из коммуникативной практики языкового коллектива, т. е. большинства пользователей, а из индивидуальных представлений отдельно взятого и совсем ещё юного её «законодателя».

Теперь представим себе судьбу такой нормы: вытекая из головы пользователя в социальное пространство языка (подход, от которого должен отказаться всякий уважающий себя лингвист), «судьбоносная» окказиональная норма сталкивается с числом параллельных окказиональных и не менее «судьбоносных» обозначений одного и того же, кратным количеству говорящих[16], делает нормотворчество в перестроечном смысле «гласным» и «плюралистичным» и в итоге совершенно бесполезным для языкового коллектива.

Приведём более сложный пример. Концептоведы утверждают, что ярчайшим отражением концептной антологии языка – «картины мира», а также доказательством вышеупомянутой первичности концептов, выступает паремиологический фонд, т. е. нереконструируемая (воспроизводимая) часть словарного состава (см. об этом также §9) – «*мудрость народа, отлитая в чеканной форме художественных миниатюр*», как её охарактеризовал Г.Л. Пермяков [Пермяков, 1970, с. 8]. Различия в паремиологических фондах якобы красочно иллюстрируют разницу в «ментальности» народов, выступающую основанием для гумбольдтовских языковых уникалий: лошадь в русской «ментальности»[17] – не то же самое, что в китайской, немецкой, французской и т. д. Тезис смел и, к сожалению, аксиоматичен в подавляющем большинстве учреждений лингвистической подготовки, образующих компактные среды для репликации подобных когнитивистских заблуждений.

Возьмём в качестве «опытного образца» единицу русского пословичного фонда «*[у тебя] голосок, что бабий волосок*», используемую в значении <*высокий [мужской] голос*>. По типу клишированного изречения это зарифмованная поговорка в виде незамкнутой частной конструкции [Пермяков, 1970, с. 11], по типу стилистического средства – распро-

[16] В стадах *homo erectus* число особей могло достигать 850 [Гринченко, 2001, с. 1664], это значит, что количество синхронных инноваций *только для одного понятия* внутри стада будет приближаться к 850, если на минуту представить, что подход когнитивистов верный. Для сравнения: в языке *Basic English* Г. Огдена и А.А. Ричардса всего 850 слов, и чтобы научиться ими пользоваться, современный человек в России учится в школе, затем в вузе, нанимает репетиторов и записывается на курсы; для «оптимизации процесса усвоения» этого количества слов массово пишутся диссертации, учебники и пособия, создаются мультимедийные курсы, разрабатываются методики, но даже сегодняшний *homo* не может справиться с задачей овладения запасом в 850 дополнительных словарных единиц.

[17] «Ментальный» диагноз языка отдаёт лапидарностью и непрофессионализмом одновременно. Недавно концептологи из Томского государственного университета даже предложили основать новое направление в лингвистике – «ментологию». Складывается впечатление, что «ментологи» никогда и ничего не слышали о социальном характере языковых изменений.

странённое эксплицитное сравнение, используемое в переносном значении [Riesel, 1959, S. 131–133], с *tertium comparationis*[18] <*тонкий*>. Согласно когнитивному подходу, появлению данного пословичного изречения должно было предшествовать представление о волоске, которое, по логике, связано с «концептами» „*баба / женщина*“, „*голос*“ и „*мужчина*“. Однако всё гораздо проще: клише возникло, скорее всего, на основе поразительной схожести фонологических составов слов «***в****олос(ок)*» и «*голос(ок)*» в русском языке, различающихся только одной фонемой. Бытовая параллель с волосом женщины выступает средством создания художественной миниатюры, в которой рифма используется как средство клиширования изречения. Ведь перед автором стояла нетривиальная задача: как сделать предложение устойчивым, запоминающимся и изобразительным? Ответ прост: зарифмовать.

<*Тонкость*> как общий признак волоса и голоса встречается не только в русском языке: лежащую в основе сравнения синестезию находим и в немецком (*dünne Stimme*), и английском (*thin voice*) языках. В данном случае можно предположить элементарную схожесть тропов, хотя гипотеза об образных прототипах в более древних языковых формах или союзах содержала бы куда бóльшую интригу. Таким образом, то, что объединяет голос, волос, женщину и мужчину в рассматриваемой паремии, отнюдь не когнитивной природы, а *стилистической*, и связано с выбором средств по принципу эпифорической схожести фонологических составов (концевой рифмы). В немецком языке слово «*Stimme*» (*голос*) рифмуется с «*Kimme*» (*насечка, прорезь прицела*); английское «*voice*» – с «*choice*» (*выбор*). Можно себе представить, какими были бы аналоги русской поговорки в данных языках: **deine Stimme ist scharf wie die Kimme*[19] в немецком и **your voice leaves me no choice* в английском языке соответственно. Как можем видеть, постулат о первичности представлений выглядит довольно призрачным на фоне формальной сочетаемости элементов паремиологической единицы.

---

[18] Дословно с латинского: «третье для сравнения», основа сопоставляемых объектов, явлений и процессов. Например, в сравнении «*он дрался как лев*», *tertium comparationis* – «*храбро*».

[19] Следует пояснить, что нулевая вероятность появления такого сравнения в немецком языке обусловлена не только отсутствием средового опыта сравнения голоса с прорезью прицела, но и тем обстоятельством, что для *tertium comparationis* «*scharf*» (*острый, чёткий*) существуют устойчивые семантические связи с единицами «*Sichel*» (*серп*) или «*Chili*» (*перец чили*). Однако следует признать, что такие образцы устного творчества являются мощным средством развития креативности обучающихся на уроках иностранного языка.

Приведём для уверенности пример другой зарифмованной пословицы: «*у всякой бабки свои ухватки*». Бесполезно представлять себе ухватки как сноровку или манеру поведения, не считаясь с тем обстоятельством, что это слово использовано в пословице исключительно для рифмы. Употреби автор вместо «*бабки*» слово «*бабы*», тогда пришлось бы думать, что рифмуется на «*-а́бы*», но в этом случае это были бы явно не «*ухватки*», а скорее всего, «*баобабы*», «*пабы*» или «*кебабы*». Следовательно, появление данной поговорки именно в таком облике детерминировано единственно материальной (морфо- и фонологической) природой используемых для её создания стилистических средств. Представление, конечно, может и предшествовать самому созданию, и это справедливо для литературных произведений, но для этого автор должен обладать талантом художника слова и изрядным словарным запасом, но даже в этом случае нет никакой гарантии, что продукты его словесного творчества приживутся в коммуникативной среде.

Как же обстоят дела с незарифмованными клише? Рассмотрим на этот раз сравнение «*scharf wie die Mondsichel*» (*острый как серп луны*) в немецком языке. Казалось бы, откуда взяться всем этим семантическим связям, если не из представлений о луне серповидной формы, порождающих «когнитивные» ассоциации с наточенным крестьянским серпом? Тем не менее, это одно из типичных заблуждений, характерных для работ в области когнитивистики. Перед нами ординарный пример схожести, только уже не фонологической, т. е. касающейся формы знака (его звучания и написания), а семантической (содержательной). Условием создания таких сравнений – эксплицитных и имплицитных[20] – выступает семантическая сочетаемость: если интенсионал единицы может добавлять семантический признак <*scharf*> (*острый*), то связь между словами возможна (как между болтом и гайкой с совпадающим диаметром резьбы). Такими словами могут быть любые единицы, семантически отражающие чувственную природу остроты в прямом (*пила, топор, спица, шило*) и переносном (*язык, взгляд, нюх, сюжет*) значениях. При этом возможно как расширение поля сочетаемости единиц с таким признаком (*острая башня*), так и сужение (*острые суши*).

[20] Эксплицитные сравнения в русском языке содержат выраженный синтаксический маркер – частицу «как» или, если речь идёт о сложных конструкциях, союз «что»; имплицитные сравнения заключены в самих единицах, используемых метонимично, например: «*Тоже мне Кулибин!*»

Не рекомендуем начинающим исследователям в спешке выдавать такие случаи за языковые универсалии или уникалии[21]: они – синхронные свидетельства того, что вюрцбургский психолингвист К. Бюлер метафорично охарактеризовал как «*Organon der Sprache*»[22] [Bühler, 1999], т. е. живой архитектуры языка, обусловленной воздействием определённой языковой среды. Вопреки ожиданиям когнитивистов, сочетаемость оперирует не готовыми «когнитивными» стерео- и прототипами, а функциональными, отлаженными, гибкими, разветвлёнными семантическими связями между нейронами – ризомой, своего рода древовидной картиной совокупной семантической сочетаемости единиц в голове пользователя. Важнейшая функция нейронной ризомы – обеспечивать логистику между синапсами (единицами мышления), создавая нейронно-ассоциативные связи при помощи нейромедиаторов (биологически активных химических веществ). *Единицы языка тогда признаются нами сочетаемыми, когда мы вникаем в их семантическое окружение и понимаем их сочетаемостный потенциал* (отсюда и выражение «*вникнуть в суть чего-либо*»).

Безусловно, семантические ризомы разнятся от языка к языку. Например, в современном немецком языке бытуют сочетания «*scharfe Säure*» (*острая кислота*), «*scharfes Zischen*» (*острое шипение*), «*scharfes Licht*» (*острый свет*), «*scharfes Mädchen*» (*сексуально привлекательная девушка*), «*scharfes Auto*» (*впечатляющая машина*). Повторюсь, что бесполезно исследовать представления об *«*острой машине*» в голове отдельно взятого мюнхенца, ибо они всегда вторичны по отношению к формальной и содержательной природе функциональных единиц и существуют в лучшем случае в виде картинки конкретного соседского автомобиля завидной марки *Koenigsegg* класса А вишнёвого цвета. К сожалению, данные представления не имеют никакого отношения к лингвистике (см. об этом подробнее также §5) и способствуют в лучшем случае обогащению страноведческой эрудиции исследователя. В языковой же реальности перед нами не более чем семантическое сочетание, обладающее образностью и экспрессивностью за счёт добавленного эпитета «*scharf*».

[21] Губмольдтовская дихотомия обозначает лишь крайние точки шкалы типологических явлений.
[22] Под влиянием платоновского «Кратила» К. Бюлер создаёт органическую модель языка, обозначаемую им инструментом коммуникации (1934).

Таким образом, отражение особенностей средового функционирования языка в мозге отдельно взятого пользователя или языкового коллектива – целиком и полностью область семантики. Примечательно, что различия в языках, полагаемые концептологами в плоскости воображаемого, не столько типологического, территориального или генетического свойства, сколько средового. Но даже если заниматься исследованиями языковых различий через мыслительные стерео- и прототипы (на примере образа лошади в китайском и русском языках), то объектом исследования непременно окажется семантика, изучающая то, что «понимается под знаками» (см. о понятиях §5).

Показательным можно считать следующий случай из моей практики. Работая председателем ГЭК в Томском государственном педагогическом университете летом 2016 г., я задал вопрос студентке, защищающей дипломную работу по «концепту» „любовь“: «*Как Вы узнали, что то, что Вы изучаете, и есть концепт?*» Ответ был гениален: «*А я посмотрела словарное значение…*». Вот так руководители дипломных работ рекрутируют неофитов когнитивного творчества, попирая основы семантики и лексикологии. Стоит ли удивляться тому, что позже те же самые неофиты будут переименовывать конференции с «*Функционально-семантический анализ языковых единиц*» на «*Функционально-когнитивный анализ языковых единиц*»? На обсуждении одной скандально известной диссертации в 2014 году на помощь диссертантке, стыдливо смолкшей в ответ на вопрос о разнице «концепта» „*семья*“ и аналогичного лексико-семантического поля, пришла её научная руководительница, ярая поборница «*концептов*», сразив наповал всех присутствующих своей репликой: «*Концепты шире*».

Не станем вдаваться в терминосферу когнитивистики с её мистическими «*репрезентантами*», «*перифериями*», «*ядрами концептов*» и пытаться параллелизировать её с аппаратом семантики – заметим лишь, что на отрезке между информационным содержанием нейронных пучков (семантикой) и гиппокампом, базовым органом лимбической системы, формирующим эмоции и консолидирующим воспоминания, языкознания нет. Оно начинается на звучащем слове и заканчивается его семантикой. Всё остальное изучает нейроморфология, нейрофизиология, нейроанатомия, нейрохимия, неврология, палеоневрология и т. д.

Правильно ли я понимаю, что перед нами попытка совершенно бесцеремонной узурпации когнитологами не только исторической вотчины языкознания, но и всех тех областей исследований, которые посвящены изучению функционирования и устройства мозга *homo*?

В этой связи обращает на себя внимание дефиниция «*Kognition*» в одноимённой лемматической статье в электронной энциклопедии Брокгауз (2002): «*Die Ungenauigkeit des Begriffs bringt es mit sich, dass Kognition als Prozess des Erkennens im Sinne eines Ordnungsbegriffs, der Erkenntnisprozesse von emotionalen Vorgängen abhebt, und andererseits auch als Produkt des Erkennens im Sinne von Erkenntnis und erlangtem Wissen gebraucht wird*[23]» [Bibliographisches Institut & F.A. Brockhaus AG, 2002].

Можно судить уже по одной дефиниции, что стержень всего философского конструкта когнитивистики, его центральное понятие, настолько же бесформенно, насколько и ненаучно. Во-первых, познание с его механизмами и закономерностями в любых интерпретационных вариациях традиционно изучает гносеология как раздел философии; во-вторых, задачей науки, как уже отмечалось ранее, выступает не размытие знания, а его детализация, а в случае с «*когницией*», которой сейчас стало модно декорировать исследования даже в области лингвогенеза, совершенно неясно, что понимать под предметом: то ли познание, то ли его процесс, то ли его продукт, то ли само понятие.

Тем самым, адептам когнитивного направления можно предложить доказать не только принадлежность к языкознанию, но и вообще его научность, сомнения в наличии которой подтверждаются отсутствием всяческой методологической базы. Если метод рыбалки – это удочка, то когнитивистам следует предъявить такую удочку в виде действенного метода «выуживания» концептов из культурной материи, а потом ещё и доказать его эффективность против методов семантики.

Однако пока единственное, что удалось доказать коллективу отечественных концептологов-ментологов, можно охарактеризовать как индивидуальную «загнутость» извилин в головах отдельных носителей языка, представляющих себе лошадей, машины, бани и пр. иначе, нежели их современники в Китае или где-нибудь ещё.

---

[23] «*Неточность понятия побуждает использовать его в обобщающем значении как процесс познания, отделяемый от эмоциональных процессов, а также в прочих случаях как продукт познавательной деятельности в значении познания и полученных знаний*». (Здесь и далее перевод наш.)

Когнитивность как оперируемая, к сожалению, не только лингвистами величина будет вынуждена уступить более точным, строгим и доказуемым определениям. Доказуемость предполагает системную локализацию явления, – а в каждом новом случае «концепт» подаётся как открытие, – в конкретной цепи соматических или экзосоматических процессов (см. об этом подробнее §4). Другими словами, называя явление, нужно упоминать и его окружение (буква «л» находится в русском алфавите между буквами «к» и «м»; *homo ergaster* находится между *homo habilis* и *homo sapiens*), так как любой факт биологической или культурной природы имеет историческую обусловленность, связан с другими (подобными) явлениями, и данную связь можно установить. «Концепты» же висят в фантазийном заоблачном поднебесье где-то рядом с суперлативами Канта и доказательствами «бога» Фомой Аквинским, будучи доступными и видимыми только для «одарённых свыше» верующих концептофилов. Неудивительно, что в рядах «естественников», усвоивших правило «золотых весов», складывается неодобрительное отношение к современным когнитивистским «открытиям».

Ведь не иначе как шокирующим следует признать «научный» цикл нескольких сибирских коллективов, проверяющих выдвинутую ими же гипотезу о том, что родство языков следует устанавливать через «концепты». Интересно, а какие выводы сделали бы апологеты когнитивного подхода в случае бонобо Канзи, использовавшего лексиграммы, или невзоровской лошади, складывающей букву за буквой в латинское слово? От кого достались карликовому шимпанзе или цирковому скакуну «концепты»? От христианского «бога»? Или они передаются подобно вирусам через взаимодействие с человеком?

И вновь идея «концептов» выводит нас на бескрайние просторы религиозности, где рядом с догмами и мировоззренческими шаблонами пёстро цветут лингвокультурологические фантазмы. Думается, мы с читателем подобрались к сакральному смыслу «пострижения» в когнитивную веру. Когнитивность и религиозность имеют общее происхождение – *индоктринацию*, которую исчерпывающе описал Р. Докинз в своём мировом бестселлере «*The God Delusion*[24]» (2006).

[24] Перевод названия Н. Смелковой «*Бог как иллюзия*» считать удачным нельзя. Английское слово «*delusion*» переводится в данном контексте как «*мания*». В этом смысле окказионализм «*Богомания*» мог бы стать знаковым для идеи антиклерикализма, как, например, в немецкой версии «*Gotteswahn*».

Вкратце, индоктринация – это практика навязывания, как правило, религиозных убеждений лицам с несформировавшимся (научным) мировоззрением. Индоктринационной можно по праву считать передачу своим ученикам когнитивистских взглядов на природу языка в силу их исключительной идеологичности и антинаучности. Целью данного акта является приобщение к сомнительным установкам путём манипуляции авторитетностью учителя; сутью – предельная зыбкость доктрины, неспособной выжить в человеческой среде без насильственного насаждения её власть имущими.

Сложно себе представить, как будут проходить вышеупомянутые исследования, неистово поддерживаемые РГНФ, понимая, что возможности когнитивного подхода скоропостижно иссякают уже в самом начале рассуждений о происхождении так называемой «языковой картины мира» у уже думающего, но ещё не говорящего *homo* (*sic!*) и посягательств на трактовку зарождения в языках грамматического рода (почему в русском языке слово «*книга*» женского, а в немецком – среднего рода[25]). И даже если лингвистика вынуждена сегодня доверить самонадеянным когнитивистам исследование происхождения языка, то признать результаты таких изысканий она не может себе позволить по одной простой причине: хотя внутренняя речь (мышление) и внешняя (анатомизированная) речь как латеральные процессы развивались и укрупнялись параллельно и взаимообусловленно, однако звучащая речь появилась значительно раньше внутренней (см. об этом подробно §5).

Тем не менее, убеждённость концептоведов в превосходстве «духовного» над материальным (вначале был концепт, доставшийся человеку, наверняка, от «бога», а уж потом сам язык), обязательно кристаллизуется в выделении новых концептов коллективным мистическим усилием на кафедральных капищах сакрального мыслеизвержения.

[25] В немецком языке существует формальное и категориальное определение грамматического рода имён существительных. Формальное определение рода основывается на следующем правиле: подавляющее большинство существительных на -er – мужского рода; если и встречаются существительные с данным суффиксом, имеющие другой родовой признак, то это, скорее всего, следствие преодоления омонимической идеографии путём размежевания единиц по родовому признаку, о чём писал ещё Л.В. Щерба [Щерба, 1974], ср.: «*das Messer*» vs. «*der Messer*»; «*der Hut*» vs. «*die Hut*». Категориальное (семантическое) определение рода исходит из принадлежности денотата к определённому классу явлений, в центре которых находится родовое понятие: напитки и автомобили мужского рода, корабли и сигареты – женского, неполовозрелые существа – среднего и т. д. В целом, присвоение грамматического рода именам существительным в немецком языке осуществляется в соответствии с принципами аналогии и родовидовых соответствий (*genus proximum vs. differentia specifica*).

Итак, на предыдущих страницах приведены типичные образцы логики, которую нам активно вменяют когнитивисты, панически боящиеся покинуть туманные чертоги черепной коробки *homo loquens*, где они привыкли комфортно «рыбачить в мутной воде», плодя свои оккультные «концепты», и взглянуть на языкового индивида из социального поля. Ведь там их ожидает обширная лингвистическая гололедица, любое передвижение по которой в их «философских» ботинках из папье-маше будет стоить концептоведам обличения абсолютной бесперспективности их подхода для решения актуальных задач науки о языке.

Несостоятельность когнитивного подхода многократно подтверждена работами его прозелитов, выполненными *de jura* по «концептам», а *de facto* по социальному опыту обследованных говорящих. Можно сколько угодно рассуждать о концептах как речевых трафаретах, в очередной раз лишь доказывая правдивость тезиса Р. Келлера о развитии языка по принципу «невидимой руки»: *никто не знает, какая инновация приживётся, так как язык созидает юнговское коллективное бессознательное* [Келлер, 1997, с. 270–271]. Развитие звуковой системы, морфологии, синтаксиса осуществлялось и оттачивалось в ежедневной коллективной практике, а не в голове одного носителя «концептов», подтверждение чему находим в постулате Ф. Дебуса о *фономорфосинтаксисе* (см. об этом §8) как грамматическом ядре языке.

Социальная функция знака по-прежнему царственно восседает на троне лингвистики, посмеиваясь над ничтожностью завистливых выводов о первородстве когнитивных представлений. Ведь от воображения в голове отдельно взятого архантропа до коллективно используемого сегмента языковой системы пролегает совсем неблизкий путь: средней продолжительности жизни особи *homo* времён Большого культурного скачка едва бы хватило на то, чтобы обучить всех соплеменников правильно высекать один-единственный символ клинком на известковых отложениях пещерных стен. Произнося глагол «*подсластить*», мы невольно ассоциируем его с фраземой «*горькая пилюля*», что свидетельствует о наличии между ними устойчивой семантической связи, даже если мы подслащаем яблоки мёдом или чай сахаром. При этом любые представления о форме, цвете, названии и назначении пилюль будут варьировать в зависимости от конкретного средового опыта индивида.

В лоне когнитивной псевдонауки зародилась так называемая «*фреймовая лингвистика*» и размашисто орудует малопонятной терминологией мистического содержания: «сценарии», «скрипты», «фреймы», «схемы», «гештальты», «слоты», «пропозиции» и т. д. Все эти продукты лингвистического празднословия «выдвинуты» якобы ведущими (куда?) когнитивистами – причём безо всякого согласования с нейробиологами и в особенности психиатрами – и обозначают виды информации, существующие якобы в голове человека. Одних языковых значений теперь недостаточно; они, мол, передают не все знания о мире. Тезис, изумляющий своей однобокостью. Интересно, а существует ли в голове человека какая-то особенная информация, которую нельзя выразить средствами языка? Или фреймологи всерьёз считают, что «чёрный ящик» с информацией лежит в голове отдельно от магнитофонной катушки с записью диалогов? Или что для нескольких миллиардов нейронно-ассоциативных связей в «цветной капусте» больших полушарий (неокортексе) можно вывести алгоритмы подобно тем, которые пишут информатики для бухгалтерских калькуляторов? И это при том, что современные нейробиологи так и не выяснили до конца, в каких структурах находится сознание, без которой соссюровский *language* как способность говорить совершенно немыслим и которую бельгийский учёный А. Клиреманс обозначает «*теорией мозга о себе*»[26].

Как и следовало ожидать, излюбленной терминологической декорацией работ фреймологов, выступает «*фрейм*» как некий «смысловой каркас будущего высказывания, отображающий вербализуемый смысл на доязыковом этапе»[27]. Весть, безусловно, благая, ибо говорим мы более чем шаблонно, но давайте вдумаемся в формулировки: «смысловой каркас, отображающий смысл», «вербализуемый смысл на доязыковом этапе». Если в читателе ещё теплится надежда на то, что фреймология является полноценной отраслью языкознания[28], то предлагаю следующие несколько минут абстрактно поразмышлять.

---

[26] В интервью, посвящённом особенностям жизнедеятельности пациента с отсутствующими 90 % мозга, А. Клиреманс утверждает: «*Мозг постоянно и бессознательно учится заново описывать для себя свою собственную деятельность, и эти описания формируют основу сознательного опыта*» (http://geektimes.ru/post/278470/).

[27] Автора этой «крылатой фразы» в среде фреймологов приводить так же постыдно, как и бессмысленно, ибо простое переписывание чужих заблуждений в работах по «фреймам» не делает чести ни цитируемому, ни цитирующему.

[28] Хотя бы, исходя из посыла её собственного позиционирования в системе научных координат.

Во-первых, человеку потребовалось по самым скромным подсчётам несколько десятков тысяч лет, чтобы приспособиться к пониманию и порождению речи в её нынешнем виде. Как следствие в «картотеке головного мозга», как её обозначает А. Г. Невзоров, имеется сегодня около 500 000 «карточек»[29], существующих, прежде всего, «для различия их самих и преодоления безымянности окружающих процессов, явлений, объектов» [Невзоров, 2012, с. 214]. Таким образом, все эти карточки являются *номинативными единицами*, как того и хотят сторонники информационного подхода, т. е. обозначают значимые и смыслоразличительные понятия из жизни и средового окружения отдельного пользователя языка. В устном народном творчестве карточки называются словами и выражениями, в языкознании – лексическими (словарными) единицами, языковыми знаками и т. д. Вся картотека, безусловно, синхронизирована с культурным (экзосоматическим) измерением (см. об этом также §4), ибо актуальность «карточек» выступает неотъемлемым условием выживания индивида в человеческой среде.

Теперь представим на мгновение, что это система не единственная, а за ней скрывается ещё одна «картотека», состоящая из информационных кодов, последовательностей, алгоритмов, сценариев и т. п., т. е. своего рода компьютерная программа, с которой привыкли работать информатики. Незамедлительно возникает целая череда закономерных вопросов: как эта информационная система там очутилась; как она передаётся в следующее поколение; как стало понятно, что она состоит из «доязыковых смыслов», и, пожалуй, главное, как она взаимодействует с языком? Тем самым, вместо одной семиотической системы мы получили сразу две, при этом вторая, языковая, выступает якобы её добавочной орнаментацией, неким декоративным завитком над буквой, *Schnörkel*, как говорят немцы, и этим себя полностью обессмысливает.

Перевожу на обыденный язык: вы вешаете табличку, а понимать нужно не то, что написано, а некие «доязыковые смыслы», предшествующие «вербализации». В этом случае многие «таблички» в языке вообще рискуют остаться пустыми в силу их вспомогательного характера: предлоги, союзы, соединительные фонемы, междометия, отделяемые глагольные компоненты в немецком языке и т. д.

[29] Имеется в виду усреднённое количество в современной популяции *homo*.

Чтобы выучить слово «стол», используемое для номинации типового предмета мебели, ребёнку, по логике фреймологов, нужно сначала накопить исчерпывающий информационный опыт о столе, системно организовать его в голове, должным образом зашифровать, чтобы только специалисты по «фреймам» могли догадаться о его существовании, а уж потом только приступать к заучиванию самого слова. Идея существования параллельной «матрицы» в голове человека отталкивает не столько своей космической отдалённостью от нейроанатомической реальности, сколько бесшабашным переносом инсинуаций компьютерщиков на естество человеческого мозга.

Во-вторых, *смысл никогда не предшествует языковому знаку, а является его социальной функцией*. Очевидно, что фреймологи не только не читали, но и никогда не слышали о трудах Г. Фреге и уж тем более не представляют себе его семиотический треугольник [Степанов, 1971, с. 85] (см. также §5), иначе не путали бы термины «*содержание*», «*значение*», «*смысл*». Приведём простой пример для иллюстрации различий между ними: *значение* (как антипод формы) единицы «*вата*» – <*белая хлопчатая масса*>; *содержание* (что понимать в среде) зависит от узуса и контекста коммуникативной ситуации: в молодёжной среде «*ватой*» обозначают пустышку, ерунду; на Украине – русских; в тюрьме – постельные принадлежности; *смысл* (для чего использовать) связан с надобностью речевой реализации единицы в определённой коммуникативной ситуации: если есть повод называть что-то «ватой», то появляется и смысл, ведь *нет смысла* обозначать «ватой» книгу, если только мы не хотим сказать, что она конъюнктурная пустышка. Любые заявления о том, что смысл существует в некой «доязыковой» реальности, следует расценивать как признание в религиозности (сначала был «доязыковой смысл», а затем уже появился сам язык).

Ежегодно на всевозможных конференциях, конкурсах, лекциях и семинарах, посвящённых вопросам перевода, я трачу изрядное количество времени на то, чтобы отучить академическую публику использовать расхожее дилетантское сочетание «*передача смысла*». Согласитесь, из всех трёх терминов языкознания «смысл» меньше всего годиться для описания процедуры перевода, тем не менее, сложно найти более популярное сочетание в среде переводчиков.

В-третьих, идея существования «доязыковых смыслов» противоречит языковым механизмам словопроизводства, призванным поддерживать продуктивность системы языка. Например, для денотации разного рода посадок в русском языке существует семантически диверсифицированный словообразовательный механизм, предполагающий использование в качестве корневой морфемы обозначения соответствующей поверхности: «*при**земл**ение*» (земля, Земля), «*при**вод**нение*» (вода), «*при**лед**нение*» (лёд), «*при**лун**ение*» (Луна), «*при**марс**ение*» (Марс) и даже возможное в будущем «*при**венер**ение*» (Венера). Все приведённые слова грамматически правильны, несмотря на то, что некоторые из них используются крайне редко. Разница с другими языками (например, английским и немецким, оперирующими генерализированными лексемами *to land* и соответственно *landen*) заключается в наличии в русском языке расчленённого понятия (см. об этом также §1, §9). 12 ноября 2014 г. европейская космическая лаборатория *Phila* совершила посадку на комету, названную именами советских астрономов К.И. Чурюмова и С.И. Герасименко. Внимание, вопрос: до того, как *Phila* впервые в истории *при**комет**илась*, существовал ли в русском языке «доязыковой смысл» этого события? И даже если лаборатория *при**чурюмовгерасименко**лась*, это тоже нельзя считать грамматически неверным образованием, ведь правило деривации не нарушено. Очень хотелось бы получить комментарии из противоположного лагеря, проясняющие доязыковую («фреймовую») природу данных единиц.

В-четвёртых, не уточняется, что фреймологи предлагают понимать под «доязыковыми» смыслами. Следует ли расценивать крики гориллы, находящейся, возможно, в доязыковой фазе, как вербализацию определённых смыслов? Ведь данные образцы доязыковой коммуникации обладают большим потенциалом для верификации теории фреймов.

В-пятых, как отметил один мой коллега, даже «бог» сказал, что вначале было слово, а не «концепт» или «фрейм». Этот аргумент рекомендуется использовать только в том случае, когда первые четыре не произвели должного впечатления на фреймологов, являющихся, по сути, профессиональной разновидностью верующих, центр мировоззрения которых образует автократичная фигура «бога». Именно к ней и следует апеллировать тогда, когда все логические доводы исчерпаны.

К сожалению, фреймология не исчерпывается одним лишь информационным подходом: в моде большие научные открытия и, следовательно, разудалое новаторство. В среде фреймологов-русистов Кемеровского государственного университета зародился «*Электронный пропозиционально-фреймовый словарь телеутского языка*», позиционируемый создателями как «словарь нового типа». Не будем останавливаться на выяснении того, какое отношение русисты имеют к языку тюркской ветви алтайской языковой семьи, обратимся сразу к основным положениям. Пропозиция, характерная в целом для работ концептологов-фреймологов, присуща и этому их детищу, однако на этот раз в метаязыковой функции ничем неподтверждаемого предположения, что во всех языках планеты, включая миноритарный идиом объёмом около четырёх тысяч слов[30], существуют фреймы и пропозиции: «*Предлагаемый словарь построен по принципу работы мозга человека, с учётом актуализации пропозициональных структур, единых для современной цивилизации*». Интересно, что сказали бы корифеи нейробиологии о «*пропозиционально-фреймовом принципе работы человеческого мозга*»? Открытие, претендующее, как минимум, на мировую сенсацию.

«*Учёт действия пропозиций в границах пропозициональных структур выявляет специфику их реализации в каждом языке, что позволяет конструктивно решать коммуникативные задачи любой сложности*». Как и в случае с лабораторией «эффективной речевой коммуникации», открытой этими же коллегами, напрашивается вывод о том, что до создания данного шедевра коммуникативные задачи любой сложности решались неконструктивно: переговоры военных парламентёров проходили неконструктивно, общение экипажей МКС с центром полётов осуществлялось неконструктивно, юноши признавались своим пассиям в любви неконструктивно, матери разговаривали с их детьми неконструктивно (видимо, поэтому наша планета перенаселена) и т. д.

Но поистине многообещающим можно признать следующее утверждение автора-составителя: «*С помощью данного словаря можно одновременно изучить столько языков, сколько человеку необходимо для работы в разных общественных сферах*»[31]».

[30] Для сравнения: лексикон И.В. фон Гёте составляет 90 000 слов (http://adw-goe.de/forschung/forschungsprojekte-akademienprogramm/goethe-woerterbuch/goethes-wortschatz/).
[31] В цитатах здесь и далее сохранена пунктуация текста-оригинала (http://gisap.eu/ru/node/7756).

Признаться, мой французский не так хорош, как хотелось бы. Я никогда не посещал курсы и не изучал его в университете. Живя параллельно в Сааре и Эльзасе во время годичной стажировки в ФРГ, я кое-как общался с франкофонами, сбиваясь то на английский, то на немецкий, но всё же на досуге прочёл самоучитель французского издательства *Langenscheidt*, написанный очень опытной переводчицей из Польши. Апогеем моего владения языка Вольтера, Руссо и Дидро было поздравление кафедральной коллеги с шестидесятилетним юбилеем длиной в полторы строчки, предварительно многократно отредактированное знакомыми романистами и носителями языка. В особо стрессовых ситуациях я могу вспомнить первую половину парадигмы спряжения глагола *être*, сказать, что живу в Томске и работаю профессором германистики. Любой специалист в области иностранных языков подтвердит, что это уровень владения, эквивалентный остаточным знаниям второго языка выпускников факультетов иностранных языков спустя 5–10 лет после окончания вуза. Особенно явственно это прослеживается у коллег со вторым немецким после первого английского, которые, не использовав его несколько лет, не могут вспомнить форму второго лица множественно числа глагола *sein – seid*. Обнаружив критикуемый словарь, поначалу я отнёсся к идее скептически, но позже меня разобрало любопытство: а вдруг это и есть тот самый философский камень, который положит конец всем проблемам в области изучения иностранных языков? Однако интуиция не подвела меня и на сей раз.

Пожалуй, здесь имеет смысл сделать небольшое «лирическое» отступление, так как считать полноценными выводы о роли предлагаемого нам словаря в изучении иностранных языков было бы нельзя без следующей пространной мысли его создателя: «*Недостатком преподавания иностранного языка является то, что оно ориентировано на достаточно жёсткие постулаты структурно-системной лингвистики. В настоящее время изменилась точка зрения на изучение языка. Если традиционная лингвистика взяла на вооружение основные положения своего идеолога Ф. де Соссюра, изучая только внутрисистемные связи в языке, в отвлечении от человека, то современная, антропоцентричная лингвистика выявляет особенности связи языка с мыслительной деятельностью человека. По сути дела, так рассматривался язык со*

времен Древней Греции, к когнитивному анализу языковых фактов лингвисты России обратились в конце XIX – начале XX века (А.А. Потебня, Кассирер, Бодуэн де Куртенэ, Н.В. Крушевский, Г.Г. Шпет и др.), время, которое В.И. Вернадский обозначил как третий взрыв в науке планетарного масштаба. Но, к сожалению, исследование языка в данном направлении быстро закончилось: в СССР во всех вузах и школах преподавание русского языка велось в структурно-системной парадигме, с этих же позиций он описывался учёными. Исследования языка за границей, в силу «железного занавеса», большей части русистов были неизвестны. Только в конце XX века лингвисты России вновь вернулись к антропоцентрическому анализу языка, анализу языка через человека. Стала актуальной фраза Потебни: язык – это человек».

Подчеркнём, что *данные рассуждения принадлежат русисту*. Да, русисты тоже обучают русскому языку как иностранному главным образом многочисленных за Уралом студентов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Однако сами они иностранными языками в основной своей массе не владеют, изучали их, как и все, в школе и в вузе, что доказывают строки о преподавании русского языка «*в СССР во всех вузах и школах […] в структурно-системной парадигме*». Следовательно, к любым выводам русистов о «недостатках преподавания иностранного языка» следует относиться с большой осторожностью.

Поражают своей близорукостью и необоснованные нападки на основателя структурализма Ф. де Соссюра, огульно называемого в тексте «идеологом». Не нужно состоять членом *Académie Française*, чтобы обнаружить в тексте «*Cours de linguistique générale*» (1916) аспекты функционирования человеческого (*sic!*) языка, хотя работа издана на русском языке ещё в 1933 г. под редакцией Р. Шор. Другое дело, что они могут быть непонятными или показаться слишком структурированными любителям «кудреватых Митреек», с патологической настойчивостью подозревающим за бюлеровским «ограноном языка» дополнительные мистические измерения, состоящие из «концептов», «пропозиций» и «фреймов». Сложно себе представить, чтобы Ф. де Соссюр изучал «*только внутрисистемные связи в языке в отвлечении от человека*», если хоть немного понимать содержание элементов его, пожалуй, известнейшей трихотомии *langue – parole – language*.

Но вернёмся к самоучителю французского языка издательства *Langenscheidt*. Я не специалист в области романистики, но понимаю, что такое самоучитель и как нужно писать такого рода литературу. Пересмотрев огромное множество работ данного жанра для разных целевых групп, я остановился на самоучителе, написанным в соответствии с «*жёсткими постулатами структурно-системной лингвистики*», благодаря которым и научился строить вышеупомянутые предложения[32]. Не является ли это доказательством того, что язык начинается не с фреймов и пропозиций, а со структуры в соссюровском понимании? Вообще, представляется довольно странным искать «фреймы» для фраз «*как тебя зовут?*» или «*в каком городе ты живёшь?*», преодолевая «*отвлечённые от человека*», «*жёсткие постулаты*» структурной лингвистики. Даже если языки оперируют различным объёмом упакованной в лексику информации, то для обучающегося они различаются, в первую очередь, звуком и графикой, формой и строением, т. е. сугубо материальными характеристиками. Сложно себе представить, чтобы первый урок французского языка в школе учительница начала со знакомства обучающихся с «фреймом» „*корова*“, «*позволяющим в совокупности представить оязыковленную картину мира*», как нам обещает автор-составитель словаря. Имея богатый опыт общения с русистами, скажу прямо: «фрейму» „*корова*“ я не удивился нисколько. «Корова» в её различных ипостасях – как животное, слово, представление – не только выступает культовым атрибутом всевозможных рассуждений русистов о «русскости» речи, души и духовных скреп, но и вызывает у них нестерпимый зуд новаторства, выражающийся то в авангардистских призывах вроде «*настала пора писать „карова“ через „а“!*», то в популистских заявлениях наподобие «*„корова“ – ключевой концепт*[33] *русской культуры!*». Похоже, «*корова*», в равной степени как «*коды*» с «*компетенциями*» и «*концепты*» с «*фреймами*», является одним их тех индикаторов профанации, о которых шла речь в §1.

[32] Я не делаю здесь рекламу Лангеншайдту, но ради справедливости отмечу, что на моём рабочем столе уже несколько книг данного издательства. Согласитесь, это сложно назвать совпадением.

[33] Критика «*ключевых*» и «*базовых концептов*», последних изобретений когнитивистов, содержится в нашей статье «*Российские немцы в Томской области: критика современных лингвистических подходов и исследований*» (http://rep.bntu.by/handle/data/15521). Несмотря не то, что в перекрестье критики попали работы, выполненные по специальности 10.02.04 – германские языки, руководство диссертантами осуществлялось русистом из когорты критикуемых.

Долгое время я был невольным свидетелем жестокой травли структурализма толпой так называемых «специалистов» в области преподавания иностранных языков, ощущая себя В. Клемперером и Ф.К. Вайскопфом[34] одновременно. Изобретались всевозможные подходы и методы, принципы и технологии, основной задачей которых было не научить, а продемонстрировать конкурентам собственную инаковость или просто заработать денег. Все эти подходы объединяет поиск решения от противного, неизменно завершающийся апагогией выдвигаемых принципов, а их авторы напоминают менеджеров девяностых, нещадно поносивших достижения советского прошлого, но феноменально обогатившихся именно за счёт народного достояния. Поразительно, но ни один из тогдашних подходов не работает так, как структурный, и в этом со мной соглашается большинство моих коллег (не фреймологов). Ведь любому здравомыслящему человеку понятно, что передавать другому человеку (ребёнку) язык без структуры и системы совершенно бессмысленно: такой язык просто не будет функционировать в среде. В пункте 1.3 я продолжу эту мысль с прицелом на компетентностный подход, своего рода современное обобщение методического творчества таких «специалистов».

Можно резюмировать, что *решение проблем обучения иностранным языкам заключается не в подходе (единственный функциональный подход – структурно-системный), а в его реализации*. Здесь педагогика выступает своеобразным «протезом», компенсирующим процессы естественного усвоения ребёнком системы языка. Конечно, ребёнок в превербальном периоде не учит структурированные правила склонения и табличные ряды абляута, но накапливаемые им знания о языке в результате взаимодействия с другими субъектами внутри среды и складываются впоследствии камешек за камешком в целостную мозаику системы языка, постоянно синхронизируемую посредством живого общения. *Реализацию структурно-системного подхода предлагает нам сама природа: как ребёнок во всём подражает говорящим вокруг него и, в первую очередь, матери, так и на уроках иностранного языка многое может заучиваться методом простого подражания*.

[34] В. Клемперер, автор книги «*LTI. – Notizbuch eines Philologen*» («*Язык третьей империи. – Записная книжка филолога*», 1947), и его современник Ф.К. Вайскопф выступали с резкой критикой американизации немецкого литературного языка ФРГ.

Во-первых, человеку, как и многим другим существам, учиться проще, подражая другим особям; во-вторых, стремиться можно только к тому, что реально существует, говорим ли мы о ценных качествах определённого человека или об интересующем стиле поведения. Прецедент существования в среде лучшего всегда становится поводом для копирования (заимствования) выгодной стратегии эволюции, которая уже доказала свою жизнеспособность. В каком-то смысле подражание есть просто экономия собственных усилий, так почему бы не использовать данный природный приём для решения задач обучения иностранным языкам, в том числе повышения уровня владения ими? Не думаю, что андрагогика может предложить что-то более «возвышенное», несмотря на лавинообразный поток диссертаций по теории обучения взрослых.

Следует также уточнить, что на практике русисты понимают под владением языка совсем не то, что лингвисты: по-настоящему владеющим русским языком считается лицо, умеющее расставлять запятые в стихотворениях В. Маяковского, ударения в словах «*мозаи́чный*» и «*осве́домиться*» и правильно писать «*чёрт-те что*» и «*с пол-оборота*», в том время как обучающие иностранным языкам готовы уже боготворить человека, если он умеет образовывать простое прошедшее время в английском языке. Безусловно, налицо конфликт профессиональных сообществ, однако мы не встречали ни одного преподавателя иностранного языка, публично критикующих русистов за отсутствие связи с «*мыслительной деятельностью человека*». Чем мотивировано утверждение об «*изменённой точке зрения на изучения языка*» и, главное, какого, ведь изучение баскского разительно отличается от изучения санскрита, остаётся только догадываться.

Невозможно обойти в комментариях к приведённой выше цитате осуждение СССР с модных либеральных позиций: «*Исследования языка за границей, в силу «железного занавеса», большей части русистов были неизвестны. Только в конце XX века лингвисты России вновь вернулись к антропоцентрическому анализу языка…*». Автору-составителю можно предложить сопоставить советский научный опыт в области языкознания с его громадой словарей, справочников, учебной литературы, добротнейших монографий и фундаментальных диссертаций и продукты постперестроечной «антропоцентрической» графомании.

Что касается исследований языка за границей, то западной парадигме языкознания в целом удалось избежать ментальных инфекций, характерных для азиатско-тихоокеанской и постсоветской лингвистической лирики, и тем самым сохранить свою традиционную структурно-функциональную ориентацию. Более того, исследования приобрели ещё более выраженный социо- и антрополингвистический характер, давно ведутся в направлении нейробиологии и идут рука об руку с дисциплинами эволюционного цикла. Между такой исследовательской профилизацией и поисками «фреймов» зияет пропасть длиной в столетия, причём со стороны страстотерпцев «тоталитарного» советского режима не предпринимается ровным счётом никаких усилий для её преодоления. Вероятно, претензия к СССР содержит не столько недовольство качеством советских исследований, сколько жалобу на невозможность публиковать пасторальную филологическую прозу под видом высокотеоретических трудов.

Но обратимся к самому главному – словнику, т. е. той части словаря, которая традиционно должна содержать тщательно отобранный и структурированный эмпирический материал. Приведём пример «фрейма» как структурной единицы (леммы) предлагаемого словаря:

«*Фрейм „корова“*

Корова по количеству молока называется молочницей. Молочница – это корова, дающая большое количество молока.

Значимым является и возможность отела. Если корова не телится, ее называют холостой, жеребой; корову, которая телится часто, именуют плодовитой.

Яловую корову, которая доится второй сезон, называют передойкой. Передойка не телится, а доится.

Наименования действий коровы, связанных с отелом, проявляют наблюдательность жителей сел: починать – состояние коровы перед отелом; пропочинать – находиться в состоянии, непосредственно предшествующем отелу. По времени отела – летошница.

Отмечены названия коров, кормящих молоком своих детенышей. Подсосая, подсоска – кормящая молоком. Корову телок сосет, она и подсосая.

По степени упитанности корова, теленок (равно как и человек) называются худоба.

Любая породистая скотина именуется как породная.

Скотина, любящая гулять, блуждать именуется пригульной, гулевой.

Старая корова называется постарелая.

Имена коров по месяцу рождения: Майка, Маечка, Октябрина.

Быки используются в сельскохозяйственных работах. Подручный бык=цабэ – бык в упряжке слева. Подручным быком называли того, что идет по непаханому полю, еще его цабэ называли».

Итак, перед нами образец словарной статьи обетованного – подчёркиваю – «***<u>нового</u>*** *типа словаря, построенного по принципу работы мозга человека, с учётом актуализации пропозициональных структур, единых для современной цивилизации*».

Напомню читателю, что до сих пор человечеству были известны два типа словарей: *семасиологический и ономасиологический*. Первый объясняет содержание слов через их форму, раскрывает значение лексических единиц, например: *корова (форма) – одомашненное парнокопытное жвачное животное (содержание)*. Принципом организации семасиологического словаря выступает соссюровский переход от означающего к означаемому (*signifiant → signifié*), т. е. от знака к его содержанию (значению), характерный для толковых словарей. Словарные единицы приводятся в алфавитном порядке для упрощения их поиска в словнике, однако в списке они, как правило, семантически не связаны. Словари ономасиологического типа используют обратный принцип организации слов: от содержания (значения) к форме, т. е. от означаемого к означающему (*signifié → signifiant*), который удобен в тех случаях, когда мы владеем содержанием, но не знаем форму лексической единицы. Подобные ситуации закономерны для изучающих иностранные языки, формулирующих свои вопросы на занятиях следующим образом: «*Как называется?..*», «*Как будет?..*», «*Как сказать?..*».

Оба способа построения словника существуют не по прихоти лексикографов: они отражают принципы организации лексических единиц в голове человека. Когда мы только выучиваем слово, ещё мало понимая его значение и ни разу его не употребив, хранить его в голове целе-

сообразно рядом с похоже звучащими (означаемыми) словами, чтобы оно, так сказать, не потерялось, не забылось. Впоследствии, когда слово приобретает устойчивые семантические признаки, «обрастает» связями с другими словами и стремится к моносемии (см. об этом также §1), оно, условно говоря, закрепляется за определённой группой слов, имеющих похожую семантику, – *ономасиологической группой*. Похожий путь проходит и человек: сначала его отличают от других подобных только по имени, а позже он становится членом определённой социальной группы – врачом, космонавтом, учёным и т. п. Ономасиологические группы являются отражением семантики внешних, средовых процессов: логические связи между объектами, явлениями, процессами, событиями окружающего мира воспроизводятся в миниатюре семантических связей между значениями (понятиями) функциональных единиц (слов) человеческого языка, безусловно, сквозь призму человеческого восприятия. Как видим, мистики здесь никакой нет: язык *homo* работает по схеме «*воздействие среды → её отражение в художественной*[35] *миниатюре в мозге человека*». Первому системному описанию ономасиологических групп в нововерхненемецком языке посвящён фундаментальный труд Ф. Дорнзайфа «*Der deutsche Wortschatz nach Sachgruppen*»[36] (1934). Леммы словаря (структурные единицы) обозначены в нём в соответствии со сферами использования группируемых таким способом единиц в обыденной жизни: «*религия*», «*военное дело*», «*рыболовство*» и т. д.

Тем самым, данные типы словарей соответствуют двум дополняющим друг друга способам организации языкового материала в голове человека (следует заметить, подход исключительно «антропоцентрический»!): через форму (морфологическому) и содержание (семантическому). В этом плане, как явствует из структуры приведённого выше «фрейма», «*словарь нового типа*» ничем от них не отличается: он тоже предлагает организовывать языковой материал внутри структурных единиц (лемм), используя морфологический (материальную оболочку слова «корова») и семантический (связи с другими словами) способы, что характерно для современных справочных изданий в целом и для словарей экспланаторного (толкового) типа в частности.

[35] Художественной миниатюру можно признать, понимая сложность семиотической конструкции языка и его ценность как предмета коллективного творчества определённого народа.
[36] «*Немецкий словарный состав по тематическим группам*».

Как доказательство приведём словарную статью «корова»[37] в «*Толковом словаре живого великорусского языка*» В. Даля (1861–1882):

«*КОРОВА ж. боденушка, птруценя и пр. ласкат. самка крупного рогатого скота: самец бык, а легченый вол; до году теленок, теля: телок или бычек. теля мужского пола; телка, тёлочка, телушка, теля женского пола. Яловка, молодая корова, еще не телившаяся; яловая, временно праздная, без теленка, недойная; стельная, которая должна в срок отелиться: дойная, дающая молоко. Корова ходит межмолок, межумолок, коли сделан ей запуск, перед новотелом, когда ее не доят; после телева сев. или отелу, молочнику дают пососать недели две и правят новотель: варят кашку на молоке, угощают корову на блюде сенцом и хлебом с солью, молят ее, или опрыскивают по-домашнему св. водою. Корова обходилась в стаде, она стельна, или не обходилась, не обошлась. осталась яловою; она заяловела, заматорела. когда два года или более сряду не обходится, остается без телки. Недодойка, молодая, яловая; передойка, старая или заматорелая; нетель, яловка, вообще. Отьемыш, отсаженный от матери сосун. Переходница, корова, которая не отелилась в срок и не стельна, а осталась на этот год яловою; также яловица, оставшаяся такою и на четвертый год. Лета коровы считают по телятам, с прибавкою трех годов: корова о пяти телятах, восьми лет. По шерсти корова: белая, белуха, белоха; серая; дымчатая или голубая; бурая, буренка; рыжая, редра (редра также белоголовая, рыжепестрая); черная, жухола; белобрысая, беломордая*».

Как можем видеть, структурные отличия, которые позволяли бы декларировать «*новый тип*» лексикографического труда, не выявлены *per se*: у В. Даля переход от звучания единицы к её содержанию и у фреймологов; у В. Даля примеры сочетаемости лексемы и у фреймологов; у В. Даля территориальные синонимы и у фреймологов и т. д. При этом словарь В. Даля называется толковым, а у фреймологов – «пропозиционально-фреймовым» и к тому же «нового типа». Невольно вспоминается крылатая фраза модистки Марии-Антуанетты «*всё новое – это хорошо забытое старое*», хвалящая страсть монархини к обновлению причёсок и гардероба зачастую на уже известный манер.

[37] С целью экономии места статья приводится не полностью. Полнотекстовую лемму см. по ссылке: http://slovardalja.net/word.php? wordid=13869.

Вернёмся в самое начало нашей критики «фреймового» направления: к «*Электронному пропозиционально-фреймовому словарю телеутского языка*». По роду занятий мне довольно редко приходилось взаимодействовать с тюркологами-сибиреведами. В основном наше нечастое взаимодействие в Западной Сибири ограничивалось технической редактурой монографий, дежурной выдачей рецензий на статьи, приглашениями на обсуждения диссертаций и совместным участием в конференциях, пока в полку нашей кафедры не прибыло. Теперь, когда количество тюркологов стало заметным, я поинтересовался для уверенности у одного близкого коллеги, телеута по происхождению, работает ли данный словарь. Опасения мои подтвердились и вот почему.

Так называемые «исследователи», выращенные по принципу «учёным можешь ты не быть, но кандидатом (доктором) быть обязан», курьёзным образом смешивают содержание ритуала в среде обитания телеутов и содержание лексической единицы в коллективном сознании пользователей: «*включённость свадьбы во фрейм*[38]» напоминает включённость утюга не в сеть, а в структуру пропозиционального фрейма.

Пропозиция по своей семантике подозрительно близка к понятию «презумпция» (пресуппозиция), представляющим наряду с ассерцией «*незаменимый инструмент семантического и синтаксического анализа*» [Падучева, 2014, с. 3–4]. Совокупность тематически связанных единиц образует ономасиологический каркас лексико-семантического поля, например, «свадьба». Но считать, что «*место, где разводят огонь и варят в чане баранье мясо*», находится в структуре некоего «фрейма», по меньшей мере, ненаучно.

По мере дальнейшего ознакомления со словарём и его отдельными структурными единицами (леммами) появляется всё больше вопросов: как соотносятся ономасиологическая организация единиц внутри лексико-семантического поля и так называемые «фреймы», и являются ли фреймы и лексико-семантические поля взаимоисключающими понятиями, и, если да, то в чём разница между темой и фреймом, а, главное, для чего подменять одно понятие другим? Сосуществование внутри текста таких формулировок, как «*лексики разной тематической направленности*», «*словарь является практической реализацией пропозицио-*

[38] http://www.araeva.pp.ua/2014/11/freym-svadba.html#more.

нально-фреймового моделирования отношений между лексемами», «*базовыми операциональными единицами разрабатываемого словаря выступают фрейм как «формализованное описание деятельности человека в контексте ситуации» и пропозиция*», «*сконцентрировать лексические единицы по определённой теме в целях их целостного восприятия и сопоставительного изучения с лексемами других фреймов*» и т. п., позволяет констатировать бессистемное использование указанных понятий. Становится очевидным, что авторам-составителям словаря под предводительством доктора филологических наук по малопонятным причинам неизвестно, что словарь состоит из лемм (словарных статей), а не лексем и уж тем более «фреймов», что бы под последними ни понималось. Лемма, с позволения заметить, это та неизбежность, отменив которую даже силой мистической воли специалиста по «фреймам», вы всё равно получите лемму, как бы ни хотелось иного, ибо представляя словарь, автор автоматически предъявляет способ организации языкового материала в леммах, а вот качество наполнения оных прямо пропорционально уровню научной квалификации автора-составителя.

Фраза «*Работая с такими словарями, человек может заучивать слова, знакомиться с лексическим своеобразием языка, но, к сожалению, не получит целостного видения лексического состава языковой системы, обусловленного особенностями речемыслительной деятельности носителей как субъектов определённой культуры*» претендует на вселенское значение «фрейма», но в действительности является не более чем поводом отнятия денег у РГНФ, а у пользователей предлагаемым словарём – времени и доверия к подобным заявлениям. Ни один словарь, собственно, никогда не даёт «*целостного видения лексического состава языковой системы*». Даже в таких серьёзных трудах, как трёхтомный «*Большой немецко-русский словарь*» под редакцией О.И. Москальской (2002) или восьмое издание «*DUDEN. Universalwörterbuch*» (2015), целостность репрезентации лексического состава нововерхненемецкого литературного языка можно поставить под сомнение. При этом мы говорим об идиоме, который синхронно насчитывает *свыше полумиллиона лексических единиц*. Так что мешает авторам-составителям представить целостную картину языкового состава миноритарного идиома телеутов объёмом менее 4 000 слов?

Ещё абсурднее обещать «*в словаре целостное видение особенностей речемыслительной деятельности*», так как адекватно справиться с данной задачей под силу лишь магнитно-резонансной томографии. Если же имелось в виду так называемое культурное бытие субъектов, то для последнего было бы адекватнее снять многосерийный документальный фильм о телеутах с лингвистическими комментариями, дабы исключить любые вариации на тему «нецелостного видения».

В целом, ви́дение авторов-составителей достаточно скоро трансформируется в сознании специалиста в навязчивое виде́ние, в чём его лишний раз убеждают такие формулировки, как «*показателем ядерности, прототипичности и периферийности того или иного фрейма для языкового сознания телеутов выступает количественный показатель репрезентирующих его лексических единиц, а также включенность их на основе принципа фамильного сходства в другие фреймы*». В любых известных формах языка «прототипы» и «ядро» соотносятся как лексико-семантические поля в структуре базового (ядерного) лексического состава, т. е. ономасиологические группы, образующие базовый состав. У французов – это виноделие, у греков – мореплавание, у финнов – рыболовство и т. п. Здесь телеуты мало чем отличаются от алеутов, алтайцев и других народностей, проживающих на сопредельных территориях и занимающихся похожими ремёслами в силу климатических, географических, исторических, экономических и прочих особенностей быта. Таким образом, разница между лексико-семантическими группами и «фреймами» состоит только в обозначении (обозначающем). Перед нами область стандартной, заурядной лексикологии, и полагать обратное, занимаясь её ответвлением лексикографией, ничем не мотивировано. Так что за уникальное инновационное *knowhow* обещают нам создатели электронного пропозиционально-фреймового словаря?

Собственная причина порождения такого Гренделя такова: фреймово-концептное мышление типично для сотрудников кафедр, «пригревшихся» у диссертационных советов, где написание стереотипных диссертаций с номинативной схемой названия «*Фрейм такой-то*», «*Концепт такой-то*» поставлено на конвейер. Желание любым способом закрепиться на кафедрах, плодя псевдонаучные выкидыши, называемые «диссертациями», стало регулярной практикой в вузах России.

В результате носители такого мышления, даже будучи обладателями корочек кандидата и доктора наук, не то что не в состоянии провести адекватное исследование, но даже не способны элементарно диагностировать в подобранном ими самими материале настоящую проблему. Размножение «концептных» и «фреймовых» филологов-неофитов в позитивистских «плацентах» местных диссертационных советов ставит под сомнение вообще надобность продолжения *такой* филологии, ибо ничего, кроме дискредитации классической структурно-функциональной лингвистики, она миру дать не в состоянии.

Поражает, как предательски-послушно публикуют «священные апокрифы» фреймологов-концептологов разного рода «Вестники» университетов, расплодившиеся в демократической «инновационной» среде академического капитализма подобно патогенным микроорганизмам. И лишь благодаря антидогматическому критицизму добросовестных лингвистов и обличающей деятельности проекта «Диссернет»[39] в эту гнилостную среду стали попадать публикации-антисептики, нейтрализующие такие когнитивистские инфекции, как «*лингвокультурема*» и «*этноспецифический лингвоконцепт*»[40].

Сегодня можно смело утверждать, что гегемонистские устремления когнитивного подхода в парадигме лингвистических изысканий дали скорее обратный эффект, обрушив на его адептов лавину заслуженной внутрисистемной критики, с одной стороны, и значительно скорректировав дальнейший курс исследовательского поиска, с другой. После тщетных попыток концептологов лишить отечественное языкознание прочной структурно-функциональной основы эпоха безудержного когнитивизма неумолимо приближается к своему логическому завершению, оставляя потомкам сомнительное наследие в виде тонн в буквальном смысле бездумно израсходованной бумаги и толп доморощенных мистиков, смотрящих на язык сквозь «концептные» очки.

[39] «Диссернет» – сетевое сообщество экспертов, исследователей и репортёров, посвящающих свой труд разоблачению мошенников, фальсификаторов и лжецов (http://www.dissernet.org/).
[40] https://snob.ru/selected/entry/67120.

1.2. Критика дискурсивного подхода

Если мистицизм мышления давал архантропу уверенность в том, что «*посредством различных ритуалов можно подчинить себе враждебный мир, снять границы между профанным миром человека и сакральным миром духов*» [Иваненко, 2002], то сегодня картина в корне изменилась: современный *homo* сохранил эту архаичную модель мышления исключительно для собственного комфорта.

По-видимому, мыслить категориями мистики не только удобно, но и экономно, ведь содержание нервной системы обходится организму весьма недёшево: «*при самой интенсивной работе мозга уровень потребления им кислорода может достигать 38 %, а пищи – 25 %*» [Савельев, 2014, С. 11]. Вероятно, по этой причине мистицизм распространён в человеческой среде так же широко, как и праздность ума, ибо далеко не все могут позволить себе роскошь читать научную литературу даже в пределах одной специальности. Поэтому в моде направления, преследующие цель не осветить тьму, а описать, на что она похожа, рассматривая «тьму» в головах как естественное состояние человека.

Если искать подходящее обозначение тому, что объединяет все пробелы в знаниях стилистики, семантики, прагматики, истории языка, социолингвистики, теории перевода и т. д., существующие в головах «духовных подвижников» постструктуралистской неолингвистики, то лучше, чем «дискурс», названия не придумать. Во всяком случае, другое объяснение невообразимой популярности этого мистического термина, дублирующего невероятное количество хорошо прижившихся и междисциплинарно используемых терминологических единиц аппарата структурной лингвистики, на данный момент отсутствует. Определить это количество сегодня и тем более в будущем в стране, где слово «*дискурс*» или его дериваты содержатся в названии каждой второй диссертации по филологическим наукам и в тексте каждой первой, было бы под силу разве что одному гению Э. Ферми[41]. Под размен попали такие термины, как «*коммуникация*», «*сфера общения*», «*речь*», «*стиль*», «*жанр*» и даже «*текст*».

[41] Э. Ферми (1901–1954) – лауреат Нобелевской премии по физике, автор метода определения неизвестного.

Посягательства на терминологию структурной лингвистики идёт по двум направлениям: данные терминологические единицы либо попросту заменяются термином «*дискурс*», либо ему противопоставляются с намёком на утраченную актуальность.

Имя заменам – легион. Мимолётного взгляда в базу данных портала *dissercat.com*[42] достаточно, чтобы представить себе масштабы терминологической замены. Тут и метафоры в «*политическом дискурсе*», и жанры в «*маркетинговом*», и категории в «*феминистском*», и коды в «*фармацевтическом*», и даже конфликты в «*Интернет-дискурсе*». Все эти примеры терминологической субституции в формулировках названий диссертаций, защищённых на территории России в постперестроечный период, можно без потери смысла заменить на более понятные и конвенциональные: «*метафоры в речи политиков*», «*речевые жанры маркетологов*», «*категории в речи феминисток*» и т. д. Однако если вдуматься в мотив замены, в сам стилистический приём, становится очевидным весь мистицизм термина «*дискурс*».

Возьмём в качестве примера «*дискурс*» феминисток: наверняка, это диалог двух или более женщин, собравшихся в тихом, уютном кафе обсудить то, что их волнует и, собственно, объединяет. О чём бы эти женщины ни говорили – о погоде, причёсках, отрицательных качествах мужчин, алиментах, политике, религии и т. д., их самообозначение «*феминистки*» не отменяет того обстоятельства, что выбранные ими речевые средства будут принадлежать обиходно-разговорной функционально-стилистической разновидности определённого литературного языка (русского, немецкого, английского и т. д.). Весь фокус в том, что зрителю предлагают ширму, за которой ничего нет: человек может называть себя как угодно, но если он общается с себе подобными за чашечкой кофе, обсуждая обыденные проблемы, его речь ничем не будет отличаться от речи политиков, маркетологов, фармацевтов и т. п. Так в чём же проявляется тот самый дискурс, который побудил дискурсолога написать целую диссертацию? И в чём заключается новизна дискурсивного подхода, безапелляционно отвергающего фундаментальные положения функциональной стилистики?

[42] Портал обозначает себя «электронной библиотекой диссертаций» и является пока единственным – пусть и коммерческим – онлайн-репозиторием электронных рукописей диссертаций в РФ.

Другое досужее увлечение дискурсоведов – противопоставление «дискурса» различным терминам лингвистики. Лидерство здесь безоговорочно принадлежит бинарной оппозиции «*дискурс* vs. *текст*», без которой не обходится ни одна работа по критикуемому направлению[43]. Увлечение стало в лингвистической среде настолько «мейнстримовым», что уже приходится объяснять аспирантам, что инструкция к медицинскому препарату – это текст, а не дискурс. Что говорить об аспирантах, если даже корифеи прибегают к единственно возможному величинному критерию, трактуя дискурс в данной корреляции как укрупнённую природу текста, ср.: «*текст – это эндоцентрическое, дискурс – экзоцентрическое*» [Кострова, 2013,с. 235–243], «*дискурс – это условия производства текста*» [Серио, 2001, с. 549–550], «*дискурс – это текст + интерактивность + ситуативный контекст + культурный контекст*» [Шейгал, 2004, с. 10–12], «*дискурс – это текст + идеология*» [Pecheux, 1975, p. 82].

Основная проблема состоит в том, что *дискурс выдаётся за «питательную среду» языка*, а пробелы в антропологии, присущие не только отечественным лингвистам, не позволяют мистикам взять этот гносеологический барьер. Отнесение термина «*дискурс*» языковедами то к аппарату психолингвистики, то генеративной лингвистики, то социолингвистики, то теории коммуникации, то когнитивистики только усугубляет подозрение в его мистицизме. Ближе всех к пониманию указанной проблемы находится Г. Кресс с его прозрачной сегрегацией «*дискурс – это социологическое, а текст – лингвистическое*» [Kress, 1985, p. 28]. Тем не менее, это нисколько не оправдывает подмену «*дискурсом*» одного из наиболее значимых понятий в языкознании – «*влияние среды*» (см. об этом подробнее §4).

Сегодня наиболее популярная трактовка понятия «*дискурс*», которую бросились переписывать все новоиспечённые кафедральные дискурсологи, звучит как «*язык, погружённый в жизнь*» и тем самым не просто его деконкретизирует (было бы странно, если бы язык был погружён в смерть), а делает совершенно бесполезным для науки: ничего не объясняя, оно лишь усложняет понимание природы языка (см. далее).

[43] О.Ф. Русакова отмечает, что вплоть до 1960-х гг. понятие «*дискурс*» использовалось как синоним текста и речи [Русакова, 2007, с. 6].

Чрезвычайная размытость этого понятия в лингвистике, породившая такое бурное увлечение интерпретационной деятельностью [ср.: Гусейнова, 2010, с. 26–33], имеет более чем веские причины. Термину «*дискурс*», введённому в лингвистику бельгийцем Э. Бюиссансем в работе «*Язык и дискурс*» (1943) изначально как дополнение к соссюровской дихотомии «*язык – речь*», надлежало стать той мистической прокладкой между языком и социумом, острую нехватку которой до сих пор испытывают новаторы-постсоссюрианцы. И хотя идея в то время казалась прогрессивной и судьбоносной и кажется многим таковой до сих пор, абсолютная неприменимость термина «*дискурс*» к реальной исследовательской практике, как, впрочем, и туманность самого подхода, не позволяют отнести его к аппарату лингвистики.

Следует отметить, что слово «*discours*» переводится с французского языка буквально как «*речь, выступление*» и уже многое проясняет в истории его зарождения в среде лингвистов-франкофонов. Обиходная единица, в одночасье объявленная термином и во многом напоминающая свою англоязычную коллегу «*competence*» в педагогике (см. об этом пункт 1.3), была обречена на долгое призрачное существование в среде мистиков, посягающих на оптимизацию наследия Ф. де. Соссюра, но так и понявших, почему в ди- и трихотомиях самого основоположника теоретического языкознания, говорившего по-французски не хуже их, она отсутствовала как таковая[44].

Отправной точкой разрастания дискурсологической гангрены в языкознании стало использование термина «*дискурс*» социологом Ю. Хабермасом и языковедом Э. Бенвенистом в значении «*процессы речевой коммуникации в системе социокультурных параметров*» [Темнова, 2004, с. 24–32] в начале 1970-х гг. С тех пор, заручившись опасной междисциплинарной поддержкой социологов и культурологов, термин «*дискурс*» начинает своё победное шествие по просторам языкознания, ревностно оберегаемый в своём мистическом наполнении хранителями сакрального знания.

[44] Многие и сегодня предпочитают думать, что Ф. де Соссюр шёл по пути «редукционизма предмета языкознания, сочтя необходимым отложить разработку теории речи до того времени, когда будет накоплен достаточный концептуальный и фактографический материал» (ср.: Макаров М.Л. Основы теории дискурса. М., 2003. 280 с.). Поразительно, что никому даже не приходит в голову, что Ф. де Соссюр, формулируя основополагающие тезисы структурализма, не только не был склонен к мистификации природы языка, но и последовательно отделял собственно языковое от социологического.

«*Стилистика немецкого языка*» Э.Г. Ризель (1959) – моя настольная книга. К счастью, рукопись минула участь переработки в когнитивно-дискурсивном ключе, как то случилось с учебниками стилистики других авторов. Отрадно осознавать, что такие величины, как Э.Г. Ризель (1906–1989), Е.И. Шендельс (1916–1995) и Б. За́ндих (1939–2013), честно и добросовестно описывали сложную материю немецкого литературного языка, не становясь заложницами мистических подходов-однодневок и конъюнктурных течений. У всех их был свой особый взгляд на природу стиля, придавший научному творчеству каждой учёной неповторимый и незабываемый узор. Безусловно, идеи и «стиля-хамелеона» Б. Зандих, и стилевой пятичастности литературного языка Э.Г. Ризель, и стилистической приуроченности парадигм сильных и слабых глаголов Е.И. Шендельс не являются истиной последней инстанции и когерентны лингвистическим идеям своего времени, но даже сегодня ни у кого не возникает сомнений в достоверности полученных ими данных. Именно этих авторов я советую читать даже тем аспирантам, которые пишут не на материале немецкого языка, ибо другой вакцины от постструктуралистского мистицизма не существует.

Для меня не секрет, что называть речь и стиль «*дискурсом*» бросились именно те, кто так и не прочёл ни одного учебника стилистики, а ведь она является лингвистической макродисциплиной, т. е. опосредует системный взгляд на природу языковых явлений и процессов. В частности, поэтому нельзя серьёзно относиться к так называемым «исследователям», защитившим диссертации с формулировками «*дискурс СМИ*», «*обиходный дискурс*», «*деловой дискурс*» в названии, так как понятно, что этот «*дискурс*» заполнил пробелы авторов в стилистике, на месте которых должны быть «*стиль публицистики и прессы*», «*обиходно-разговорный*» и «*официально-деловой стили*». Возражения многих филологов вроде «*иначе бы работа не прошла экспертный совет ВАК*» несущественны: от диссертантов никто не требует примыкать к определённому направлению; наоборот, приветствуется системное видение проблемного поля, обзор широкого круга источников и взгляд на предмет с позиций различных лингвистических и родственных дисциплин – факторы, обеспечивающие междисциплинарность подхода, который декларируется во всех без исключения диссертациях по филологии.

Приведём доказательства того, что «*дискурс*» в трудах современников есть не более чем совокупность пробелов в стилистике. Одним из наиболее ярких представителей так называемого «*критического дискурс-анализа*» является голландец Т.А. ван Дейк, чьи работы массово цитируются всеми поколениями отечественных мистиков.

В своей книге «*Дискурс и власть. Репрезентация доминирования в языке и коммуникации*» (2013) он предлагает инновационный подход к рассмотрению лжи политиков[45] «*не с точки зрения семантики правдивых высказываний, а, скорее, с позиций прагматического подхода, рассматривающего то, каким образом знание формируется в контекстных моделях*» [ван Дейк, 2013, с. 304]. Абзацем выше на стр. 303 в Заключении Т.А. ван Дейк конкретизирует понятие контекстных моделей через «*ментальные модели*» (очевидно, того, что в головах политиков – *прим. Ю.К.*) [ван Дейк, 2013, с. 304], которые, по-видимому, и должны стать предметом анализа с использованием инновационного подхода. Обратимся к главе 4 «*Новый подход к изучению идеологии*» (стр. 53), название которой обещает экспликацию обетованного подхода. В итоге приходим к выводу, что на менее чем трёх страницах не содержится не только самой экспликации подхода и его инновационности, но даже отдалённого намёка на механизм его действия и применения. Вместо этого текст пестрит рассуждениями социологического характера об «*идеологических практиках*» и формулировками вроде «*идеология представляет собой форму социального знания*», «*и сама идеология, и идеологические практики, обусловленные ею, часто усваиваются, реализуются и организуются посредством различных институтов*», «*в отличие от большинства других подходов к изучению идеологии в социальных и политических науках, мы ориентируемся на более системный социокогнитивный анализ идеологических структур и процессов их (транс)формирования и применения*» [ван Дейк, 2013, 53–54]. Глава завершается многозначительным пассажем, оставляющим читателя наедине со своими неоправданными ожиданиями: «*Иными словами, большая часть классических работ по идеологии основаны на традиционном макроанализе общества, игнорирующем актуальные структуры*

[45] В качестве примера приводится языковой материал дебатов в Кортесе по поводу разрастающейся войны в Ираке.

и процессы на микроуровне функционирования идеологии. Этот глобальный и поверхностный подход помимо прочего не позволяет определить связь между социетальными или групповыми идеологиями (и властными структурами, которые они детерминируют, скрывают или легитимируют) и конкретными социальными практиками меж- и внутригруппового взаимодействия, а также уточнить роль дискурса в идеологических (транс)формациях» [ван Дейк, 2013, 55]. Более оптимистично выглядит глава 6, посвящённая «*анализу власти и дискурса*». Здесь в пункте 4 «*типологии реализации власти в дискурсе*» мы находим знакомое слово «*тексты*» с атрибутом «*нарративные*», что позволяет предположить, что автор работает помимо «*ментальных моделей*» с обычным текстовым материалом. Впоследствии, по мере знакомства с «*критическим дискурс-анализом*» на стр. 132 обнаруживаем «*средства*» (*sic!*), используемые в «*дискриминационных практиках расистского дискурса*»: «*звуки, лексику, синтаксис, локальные / глобальные значения, риторические средства, речевые акты*» и пр. Соотносимыми автором с перечисленными собственно языковыми средствами «*другими структурами*», как «*изображения*», «*макеты страницы*», «*размеры заголовка*» и т. п., могут заниматься культурологи, искусствоведы и верстальщики, а мы предлагаем оценить объём собственно языковых средств, подвергаемых анализу, который, очевидно, и должен продемонстрировать особенность инновационного подхода. Звуками в речи (ономатопей) занимается стилистика; лексикой и экспрессивным (расистским) синтаксисом занимается стилистика; локальными / глобальными значениями («на уровне предложения и тем» [ван Дейк, 2013, 132]), т. е. метафорикой текста, занимаются семантика и стилистика; риторическими средствами занимаются риторика и стилистика; речевыми актами занимаются стилистика и прагматика в содружестве, но если речь идёт о выборе средств, то в большей мере стилистика. Сделанные нами выводы подтверждают многочисленные в тексте книги примеры «*употребления в речи эксплицитных дейктических описаний*» (стр. 217), «*инверсии как формы отрицания*» (стр. 159), «*фрагментов речи Т. Блэра*» (стр. 278) и т. п., позволяющие обобщить материал исследования как специально отобранные средства «*функционально-стилистически дифференцированного состава языка*» [Riesel, 1959, S. 114–115].

Итак, если обсуждаемая работа Т.А. ван Дейка, позиционирующего себя лингвистом, должна пониматься как лингвистическая, о чём заявлено в сугубо стилистически детерминированном названии «*Репрезентация доминирования в языке и коммуникации*», то возникает справедливый вопрос: для чего понадобился автору термин «*дискурс*»? Ведь если понимать под языковыми и коммуникативными (речевыми) репрезентациями *средства* (а другое не дано в силу материальности продуктов речи – текстов), то какой толк от увлечения читателя в область социологии, чтобы, в конечном счете, показать выводы, лежащие в плоскости стилистики, которая, собственно, и изучает выбор средств? Или это и есть тот самый «*инновационный подход*», о котором подозрительно умолчал автор в четвёртой главе?

Страшно себе представить, что пишут поклонники, если их кумиры позволяют себе подобные оплошности. Можно видеть, что спустя 70 лет после выхода работы Э. Бюиссанса мистика нисколько не развеялась, а лишь ненужным образом сгустилась в работах дискурсологов, выступая по-прежнему единственным официально признанным связующим звеном между языком и социумом. Главным доказательством этому служит массово тиражируемое отечественными гуманитариями определение «дискурса» как «*язык, погружённый в жизнь*» [Арутюнова, 1990, с. 136–137], неожиданно данное представителем структурализма. Сложно сказать, чего в данном определении больше – мистицизма как основы постструктуралистского мышления или дилетантизма как залога его безоблачного существования?

Во-первых, если слово «жизнь» использовано здесь как научный термин, на что указывает включение данного определения в «*Лингвистический энциклопедический словарь*» под редакцией В.Н. Ярцевой (1990), то сразу же возникает масса закономерных вопросов. Существует множество определений жизни с позиций различных научных дисциплин: термодинамики, химии, биологии, философии и т. д. Так как главенствующей отраслью знания в данном вопросе выступает астрофизика, то предпочтение следует отдать дефиниции С.А. Беннера, используемой с 1994 г. в NASA: «*life is a self-sustaining chemical system capable of Darwinian evolution*» (*жизнь – это самоподдерживающаяся химическая система, способная к дарвиновской эволюции*) [Benner, 2010, p. 1021].

Совершенно непонятно, каким образом осуществляется «погружение» в данную химическую систему языка как продукта культурной деятельности *homo*? Неужели язык – настолько существенен для дарвиновской эволюции, что химические и физические процессы, протекающие в клетке и способствующие обмену веществ и её делению, невозможны без дейктических элементов, маркеров и имён собственных – языковых универсалий по Ч.Ф. Хоккетту [Хоккетт, 1970, с. 45–76]? А стало бы решающим признаком языка уточнение «жизнь человека» в отличие от «жизни тушканчика»? Являются ли химические и физические процессы внутри человека поводом для понимания сложной природы языка, при том что жизнь, как известно, понятие соматического порядка (см. об этом подробнее §3)? И т. д. Напрашивается неутешительный вывод о том, что слово «жизнь» использовано в формулировке Н.Д. Арутюновой не как научный термин, а как обиходно-разговорное обозначение окружающего мира, близкое по значению к слову «среда», вне которой язык в известном нам качестве не существует.

Во-вторых, язык не «погружён», а распространяется и используется в среде для различных целей. Разница между погружением и распространением / использованием такая же, как между погружением автомобиля в воду (например, в реку) и собственно вождением. Ожидать, что автомобиль поедет по дну реки или называть это нормальным его функционированием, – нельзя. Неясно, что автор определения хотел выразить своей метафорой – функциональную природу языка или социальные процессы, в которые вовлечён язык. Ясно следующее: погружение чего-то готового в некую среду, как правило, ничем хорошим не заканчивается. Здесь мы автоматически становимся участниками старого спора дарвинистов с креационистами о том, почему что-то живое нельзя просто взять и куда-то «погрузить» (так называемая «теория[46] разумного замысла»). Блестящий и непревзойдённый по точности и краткости ответ даёт Р. Докинз всё в том же шедевре «*The God Delusion*» (2006): «*Естественный отбор – это длительный аддитивный процесс*» [Dawkins, 2006, p. 200]. Допустим, если погрузить современный немецкий язык в русскую жизнь, то закончиться это может только очередным взятием Рейхстага.

[46] Если её можно считать таковой.

Мистицизм мышления постструктуралистов виснет тяжким императивом над всеми плодами их мыслительной деятельности, чего бы она ни касалась – науки или бытовых вопросов: язык не может «погружаться в жизнь» так же, как «дух» не может погружаться в материю, нравится это верующим филологам или нет. Здесь становится более чем очевидной параллель критикуемого определения «дискурса» с особенностями христианского мировоззрения: «вначале было слово», которое потом «погружалось в греховную жизнь». Язык является сегодня важнейшим ингредиентом среды обитания человека; само существование человека без языка неполноценно. Мало того, язык в сегодняшнем его виде – произведение этой самой среды, иначе известнейшая цитата Ф. фон Шиллера «*Die Sprache ist der Spiegel einer Nation; wenn wir in diesen Spiegel schauen, so kommt uns ein großes treffliches Bild von uns selbst daraus entgegen*»[47] неверна, что, к счастью, не так.

В-третьих, заузить весь язык по отношению к понятию «дискурс» – всё равно что назвать атомный ледокол браконьерским мётчиком и отправиться на нём рыбачить в вечный льды. Это проявление глубочайшего презрения ко всему тому опыту, который аккумулировала наука о языке с древнейших времён в областях герменевтики, семантики, лексикологии, стилистики, прагматики, социолингвистики, антрополингвистики и др., так или иначе интерпретирующих природу текста. Как можем видеть, конъюнктурные течения настолько захлестнули отечественное языкознание, что нашли отражение даже в таком солидном издании, как «*Лингвистический энциклопедический словарь*» под редакцией В.Н. Ярцевой (1990).

Итак, «дискурсивную лингвистику» достаточно сложно назвать направлением или даже подходом. Скорее это поклонение термину-богу «*дискурс*» и его дериватам-апостолам «*дискурсный, дискурсивный, дискурс-анализ*» и пр., паразитирующим на теле развитой терминосистемы структурализма. Вместо серьёзной критики дискурсоведы с салонным жеманством упражняются в исправлении друг друга с «*ди́скурс*» на «*диску́рс*» и наоборот, покорно продолжая мистическую традицию псевдонаучного дискурсознания.

[47] «*Язык – это зеркало нации; когда мы смотрим в это зеркало, перед нами открывается великое и точное отражение нас самих*» (Ф. фон Шиллер).

1.3. Критика компетентностного подхода

Вначале следует пояснить, почему я отношу компетентностный подход, используемый главным образом в современных педагогических исследованиях, а также специальность научных работников 13.00.02 с индикатором «(иностранные языки)» [48] к числу лингвистических.

Первая и, пожалуй, основная причина состоит в том, что вопросами изучения языка и порождения речи традиционно занимаются такие самостоятельные ветви исторического языкознания, как социолингвистика в разделе языковой политики и планирования, корпусная, ареальная и этнолингвистика, отчасти контактология в вопросах (потребности) изучения контактирующих языков, генеративистика и, безусловно, грамматика как раздел языкознания. Единственное на сегодняшний день отличие «методики» и лингвистики состоит в том, что первая изучает «как», а вторая «что». К счастью, средовый подход, уже имплементированный в образовательную практику благодаря порядочным и честным педагогам (см. об этом также §2), не нуждается в предметных ярлыках в силу своей выраженной междисциплинарности.

Во-вторых, обоснование необходимости «*субъектно-субъектной формы организации обучения иностранным языкам*» [Katschalow et al., 2011, S. 40] недвусмысленно поставило в педагогике во главу угла не *обучение*, а *изучение* со всеми вытекающими отсюда последствиями в виде создания учебных автономий (см. об этом также §4), разработки гибридных методик, средовых моделей (культуротворческой, познавательной, развивающей и др.) и т. д. Так как вопросами изучения иностранных языков, как отмечено выше, традиционно занимается лингвистика, педагогике здесь отводится скорее вспомогательная роль: даже самые успешные методики всегда уступали по важности содержанию обучения, которое без остатка языковое.

В-третьих, компетентностный подход, ставший практически единственным в работах по 13.00.02 в частности и в педагогике в целом, вышел целиком из генеративной лингвистики. Следуя завету А. Эйнштейна, что формулировка теории должна быть предельно простой и умещаться в предложение, Н. Хомский выразил стержневое положение своей концепции ре-

[48] 13.00.02 – теория и методика обучения и воспитания. См. паспорт специальности по ссылке: http://teacode.com/online/vak/p13-00-02.html.

чепорождения следующим образом: «*We thus make a fundamental distinction between* ***competence*** *(the speaker-hearer's knowledge of his language) and* ***performance*** *(the actual use of language in concrete situations)*»[49] [Chomsky, 1965, p. 4].

Конъюнктурные отечественные педагоги, совершенно не вникая в лингвистический контекст рассуждений, с радостью забыли про тщательно выводимые и разводимые ими все 1960-е, 1970-е и 1980-е «знания, умения и навыки» (и ревностно защищаемые от психологов, «переворачивающих всё наоборот») и бросились называть любые результаты обучения «*компетенциями*». И если на Западе (в первую очередь, в США) такая традиция закрепилась во многом благодаря междисциплинарной значимости хомскианства, а также исторически обусловленной неделимости научного знания на сферы, что делает открытие в области филологии доступным в равной степени и для социологов, и для математиков[50], то в русском языке гипероним «*компетенция*» имеет стойкий привкус канцелярита и психиатрического диагноза.

В-четвёртых, принадлежность шифра и подхода к языкознанию легко доказывается методом от противного: поставьте просто педагога вести иностранный язык в группе любого уровня, и обнаружится его полная «некомпетентность». То же самое справедливо и в отношении любых других предметов (минералогии, коллоидной химии и т. д.), преподавание которых не делает их педагогическими.

Таким образом, признавая бесспорное лидерство педагогов в имплементации средового подхода, с одной стороны, нельзя не отметить неоправданную фиксацию современных работ в области педагогики на «компетентностях» с их указанным выше наполнением, с другой стороны. Лингвистическая специализация компетентностного подхода не помешала постперестроечным кандидатам и докторам педагогических наук не только масштабно использовать исходный термин «*competence*» не по назначению, но и полностью поставить его на службу своим карьеристским притязанием.

---

[49] «*Тем самым мы различаем между* ***компетенцией*** *(знанием говорящего-слушающего о своём языке) и* ***речевой деятельностью*** *(фактическим использованием языка в конкретных ситуациях)*».

[50] Следует упомянуть и так называемый Болонский процесс, инициаторы которого способствовали интернационализации ряда единиц англоязычного происхождения, используемых наряду с «*competence*», к примеру, в печально известных ФГОСах всех поколений.

Актуальные направления педагогических исследований в России весьма сложно обозначить парадигмой, ведь признаки научной парадигмы – это наличие устойчивых идейно-исследовательских оппозиций, синкретизм подчинённых им неоднородных понятийно-терминологических аппаратов, форм исследований и подходов, т. е. всего того, что конституирует естественное научное многообразие независимых позиций, школ, учений – ту анизотропную среду разнонаправленных, разновеликих, разновесных, разнопорядковых процессов и явлений, в которой и рождается живая наука педагогика, призванная решать извечные задачи воспитания и научения. Вместо этого повсеместно можно наблюдать принесение естественного и должного научного многообразия в жертву «неопедагогическому монотеизму» в виде поклонения одному единственному компетентностному подходу и инкубирования бесконечных типовых компетенций, которыми якобы должны обладать обучающиеся. Лингвистические и псевдолингвистические термины вроде «*дискурса*» и «*концепта*» становятся при этом лишь наклейками для штамповки очередных разновидностей компетенций у печатного станка современных диссертаций в области педагогики: каждый диссертант при помощи какого-то невообразимого мистического усилия проводит сегрегацию всех защищённых до него «компетенций» (социокультурных, лингвокультурных, лингвопрагматических, социолингвистических, где нет даже намёка на социолингвистику, и т. п.) от изобретаемой собственной и называет её обязательно «дискурсивная» или «дискурсивно-коммуникативная», или «когнитивно-коммуникативная», вызывая у филологов приступ сардонического хохота.

Компетентностный подход есть порождение печально известного реформирования некогда лучшей в мире советской системы образования, затеянного прозападными «демократами» в Правительстве Российской Федерации после событий Перестройки. Это гремучая смесь предательского внедрения положений болонско-пизанских протоколов в школы и вузы постсоветской России, целенаправленного вредительства либералов-западников в чиновничье-бюрократическом аппарате, отрицания достижений фундаментальной советской науки, коммерциализации всех сфер жизнедеятельности человека (в том числе, образовательной) и, безусловно, обыкновенного должностного паразитизма.

Реализация министерской политики в области так называемого «менеджмента качества», о котором ничего не знали в Советском Союзе и имели при этом лучшую систему образования в мире, предполагает повышение показателей «защищённости» научно-педагогических работников, согласно которому «остепенённость» профессорско-преподавательского состава подразделений университета должна быть не ниже определённой планки, а лучше все 100 %. В результате диссертации по педагогике пишут все, кому не лень: лаборанты, методисты, многодетные совместители из периферии, сотрудницы в декретном отпуске, бывшие и нынешние школьные учителя (по педагогике высшей школы), подрабатывающие в университете на почасовых, и, самое главное, вся «великородная» прослойка руководящего состава университетов – деканы, директоры институтов и избыточных номенклатурных отделов, проректоры, ректоры, их помощники, заместители и т. п. Среди последних крепка традиция становиться докторами педагогических наук (безусловно, в платных московских советах), имея кандидатские по геологии, химии, истории, медицине, математике и т. д.

Существует понятие «научная тема жизни», подразумевающее, что исследователь шёл, так сказать, *per aspera ad astra* (долгим тернистым путём), в поте лица добывая сокровенное знание и себя не жалея. Однако сопоставление тем кандидатских и «более зрелых» докторских, соответственно, по педагогике может лишь обогатить список примеров оксюморонов для вузовских лекций по функциональной стилистике: кандидатская по так называемым нанотехнологиям[51], а докторская по подготовке магистров к научно-исследовательской деятельности; кандидатская о гареме хана Батыя, а докторская по смешанному обучению; кандидатская по солончакам восточно-казахстанской степи, а докторская по информационным технологиям обучения и т. д. и т. п.

Парадоксально и то, что сквозь изрядно износившиеся фильтры многократно «отреформированной» советской системы аттестации научно-педагогических кадров «просачиваются» соискатели степени кандидата или – ещё абсурднее того – доктора педагогических наук, не покидавшие в период выполнения исследований пределов кафедры, за

[51] Учёные давно высказали своё отношение к «нано», ср.: http://www.nanometer.ru/2010/06/04/12756380321857_214259.html, http://www.nanonewsnet.ru/articles/2007/top-5-samykh-populyarnykh-zabluzhdenii-svyazannykh-s-nanotekhnologiyami.

которой они закреплены. Сложно себе представить, чтобы швейцарец И.Г. Песталоцци разработал основы природосообразного воспитания, не переступая порог школы, или основатель русской педагогической антропологии К.Д. Ушинский обосновывал свои принципы в отрыве от педагогической среды. Сегодня представляется скорее научной фантастикой, если диссертант отправляется в глубинку, где среди подростков процветают алкоголизм и педагогическая запущенность, и пытается что-то изменить в лучшую сторону. Вот там бы и пригодились активно вменяемые диссертационным советам «педагогические модели формирования того и сего», без которых не обходится практически ни одна современная диссертация на соискание научной степени кандидата или доктора педагогических наук.

Необходимо подчеркнуть, что согласно решению ЮНЕСКО о признании педагогов, определивших способ педагогического мышления в XX веке, присудить степень доктора педагогических наук можно было бы лишь четырём кандидатам: 1) американскому философу Дж. Дьюи за обоснование эффективности проектного метода, которое диссертанты до сих пор обосновывают в пунктах «научной новизны»; 2) немецкому педагогу Г.М. Кершенштейнеру, заложившему основы гражданского воспитания; 3) итальянской учёной М. Монтессори за концепцию развивающего обучения; 4) советскому просветителю А.С. Макаренко за вклад в идеи (пере)воспитания трудных подростков.

Сегодня к данной «четвёрке» можно добавить, на мой взгляд, лишь двух: 5) председателя Общероссийского общественного движения «Образование – для всех», коммуниста О.Н. Смолина, известного своей неутомимой критикой министерского «реформаторства» с трибуны Госдумы, и 6) немецкого общественного философа[52], германиста, педагога и публициста Р.Д. Прехта за попытку революционизировать современную систему школьного образования в ФРГ как пережиток прусской модели, которую критиковали ещё В.И. Ленин И А.В. Луначарский и которая является прототипом современной системы годовых классов, несмотря на заложенные в ней откровенно социально-дарвинистские принципы отбора обучающихся [Precht, 2013, S. 31].

[52] Немецкая пресса окрестила профессора Люнебургского университета «*самым влиятельным общественным философом Германии*» (*Deutschlands wichtigster öffentlicher Philosoph*), возведя обозначение современной профессии в медийный клишированный эпитет самого Р.Д. Прехта.

Итого шесть докторских за век с небольшим (учитывая также тот факт, что самим выдающимся педагогам корочка российского министерства вряд ли была бы интересна и чем-то полезна в их профессиональной деятельности). Очевидно, стремительно деградирующая в условиях технократии популяция *homo* не может порождать бóльшее количество гениев в области педагогики в обозначенный отрезок времени, что, вероятно, следует расценивать как дополнительный критерий отбора претендентов на учёную степень доктора педагогических наук.

На фоне такого скромного числа по-настоящему выдающихся педагогов, имевших все основания защищать докторские диссертации неизменно благодаря собственному усердию, таланту и самоотверженности, наплыв диссертаций по педагогике и методике в России конца XX – начала XXI вв. при катастрофически ухудшающейся ситуации в системе «осовременненого» на заморский лад постсоветского образования выглядит, мягко говоря, необоснованной.

Но если диссертанты, вышедшие из вузовской среды, имеют хотя бы какое-то отношение к образованию, то защиты педагогических диссертаций депутатами, сотрудниками и главами районных администраций, отраслевых ведомств, членами правительства и т. д., якобы погружёнными в исключительную и непременно достойную защиты докторской педагогическую практику и решающими, как гласит регламент, «важную общественную задачу»[53] (очевидно, оккупации очередной «хлебной» должности), выглядят более чем обличающими. Защитив докторскую диссертацию непременно по очередной фантасмагорической «компетенции», раздувающийся от собственной важности чиновник начинает рьяно реализовывать себя на «профессиональном поприще», заваливая весь нижний отрезок вертикали тоннами ничего не значащих бумаг: приказами, распоряжениями, требованиями и т. п., на выполнение которых тратится всё рабочее и внерабочее время рядового педагога, мнения которого чиновник предпочитает не спрашивать.

[53] «Диссертация на соискание ученой степени доктора наук должна быть научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором исследований разработаны теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как научное достижение, либо решена научная проблема, имеющая важное политическое, социально-экономическое, культурное или хозяйственное значение, либо изложены новые научно обоснованные технические, технологические или иные решения, внедрение которых вносит значительный вклад в развитие страны» (П. 1 Положения о присуждении научных степеней, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842).

Если представить себе, сколько таких педагогов-управленцев «трудится» в своих кожаных креслах по причине защищённых «компетенций», то удивление по поводу бесконечного потока бюрократической макулатуры в системе российского образования отпадёт само по себе. Ведь одно только обстоятельство, что рабочие программы за один семестр можно переписывать три раза (т. е. за три прошедших года), сводит на нет всю мотивацию к собственно педагогической деятельности на местах. Причём даже поверхностный сегментный анализ требований, предъявляемых к комплектации содержательных блоков рабочих программ «нового поколения», показывает, что там «наверху» идёт прямо-таки спортивное соревнование по требовательности, а «ничего не смыслящие в преподавании своих дисциплин педагоги» даже не подозревают, какие «компетенции» у их подопечных нужно формировать.

К примеру, если стержневым требованием 2013 года к программам была разработка «образовательных технологий» (чиновник, защитивший диссертацию, явно вышел из производственной среды), то в 2014 году ещё недавно столь значимые и актуальные «технологии» уступили место «интерактивным формам организации учебного процесса», а к 2015 году были агрессивно и безапелляционно вытеснены новыми «компетенциями» в головах обучающихся, открытыми чиновниками на своих высоких постах. Всё это означает только одно: в 2013 году кто-то «сверху» «защитил» докторскую по технологиям, в 2014 – по интерактивности, в 2015 – по новым (ранее неизвестным науке в целом) «компетенциям». Другого объяснения, зачем переписывать рабочие программы три раза в семестр, дедуцируя всякий раз новые «компетенции» общей и профессиональной специализации, не существует.

Становится очевидным, что педагогика лишь потому так полюбилась «китам» номенклатуры, что защитить, скажем, докторскую диссертацию по филологии им не позволяют собственные «габариты»: здесь нужно собирать материал (часто полевой), регулярно отправляясь в экспедиции, уметь выделять в живом слове циркумфиксы и метатезы, засиживаться до глубокой ночи в университетских библиотеках без кондиционеров (а зимой без отопления), ездить на консультацию к специалистам или апробацию добытых результатов работы за много вёрст от места дислокации удобного кожаного кресла, т. е. заниматься мелкой,

кропотливой, неблагодарной и недостойной «гигантов педагогической мысли» работой. Несомненно, в этом плане компетентностный подход как нельзя удобен: он позволяет в кратчайшие сроки и с минимальным расходом аденозинтрифосфорной кислоты приобрести важное эволюционное преимущество – заветное свидетельство о высшей научной квалификации с корочкой красного цвета.

Однако наиболее опасными для самой педагогики адептами «компетенций» являются так называемые «педагоги-педагоги», т. е. «защитившие» и кандидатскую, и докторскую по педагогическим наукам. Несмотря на все типологически заложенные предпосылки к номиналу качества никак не менее 100 %, пятиминутный разговор с оными может разочаровывать больше, чем «ауткаминг» (публичное признание) какого-нибудь видного физика в том, что он, оказывается, «верующий». (Тема необходимости научно-атеистического мышления для выполнения любых научных исследований затронута здесь вскользь и будет продолжена далее.)

«Педагоги-педагоги» отличаются прескверным характером и крайне неустойчивой психикой, что является, надо полагать, обязательной (и даже желанной) деформацией «личности» «выдающегося педагога». Перечисленную выше «шестёрку» достойнейших претендентов на степень доктора наук данная разновидность вообще не считает сколько-нибудь значимой для «становления современных педагогических идей» и посвящает все семинары со студентами не выковыванию будущих учителей школы, а критике подходов и идей признанных учёных, отстаивая право на существование одной защищённой ими компетенции. Обитают «педагоги-педагоги», как правило, на кафедрах с загадочными названиями вроде «Кафедра педагогических измерений» (где, наверное, измеряют педагогов линейкой и штангенциркулем) или «Кафедра педагогических технологий»[54] и занимаются главным образом докучливым убеждением вас в том, что только им одним понятна разница между «навыками» и «умениями», «развитием» и «формированием», «готовностью» и «сформированностью», «технологией» и «методикой», «компетентностью» и «компетенциями».

[54] «Педагогические технологии» – очередная терминологическая инновация, пришедшая на замену советской триаде «знаний, умений, навыков».

Нужно полагать, копирайт на использование перечисленных «терминов» был получен при защите докторской диссертации и использовать сочетания семантически корректно вы можете только с разрешения «педагога-педагога», вежливо расспросив о его триумфально защищённом эпохальном исследовании, а затем внимательно и не перебивая выслушав полуторачасовую лекцию о том, как несовершенен был мир до защиты им докторской по той самой судьбоносной «компетенции».

На обсуждении одной из таких диссертаций, посвящённой выкристаллизовыванию очередной разновидности «компетенций», диссертантке задали вопрос, как ей удаётся различать на практике, какую «компетенцию» она формирует. Ответ был гениален: «*Так а мы же это в начале прописываем*». Великолепно! Называешь в самом начале планируемый результат абракадаброй, а сам неспешно, с рутинным хладнокровием обучаешь чтению и письму. (Не правда ли подозрительно похоже на алгоритм написания диссертаций по «концептам»?) Поразительно, что при проверке самого способа (язык не поворачивается называть это методом, ибо предложить новый метод нужно ещё постараться) обучения иностранному языку (английскому по умолчанию[55]) выяснилось, что обучающимся раздают простой распечатанный текст с непревзойдённой по тривиальности формулировкой задания: «*Read and translate the text!*» (Прочтите и переведите текст!).

Уверен, не стоит распространяться о том, что в такой диссертации обосновывается не «компетенция», а нулевой прогресс российской педагогики со времён последнего министра образования СССР Г.А. Ягодина, а обилие шальных «идей» обозначения всего подряд (вплоть до любимых игр Б. Обамы[56]) «педагогическими технологиями» и «компетенциями» допускает исключительно психиатрическую трактовку сложившейся ситуации в российской педагогике. Разумеется, в реальности всё должно быть куда проще и ориентировано на массового потребителя (как того и желал отставной министр Фурсенко). Если доставшаяся нам от «диктатора» И.В. Сталина система диверсификации научных областей призвана готовить специалистов в узких предметных рамках, то и название реальных по-

[55] Количество диссертаций по формированию «компетенций» в процессе обучения английскому языку в школе и вузе исчисляется тысячами, при этом, как отмечалось ранее, язык «Basic English» состоит всего из 850 слов.

[56] Мне довелось рецензировать диссертацию, посвящённую обучению английскому языку средствами игры *Scrabble*.

требительских компетенций должно быть узкопредметным. Иначе, зачем тогда делить всех на педагогов, математиков, химиков, филологов? Таким образом, в будущем следует ожидать защит кандидатских и докторских диссертаций в области педагогики по следующим видам компетенций: *осанкудержательной, зубосверлительной, кнопкумышкикликательной, иностранномуязыку-обучательной, преподавателюзазачётвзяткунедавательной* и др.

Безнаказанно жонглируя любыми терминами – частно- и общенаучными – и надменно швыряя стремительно глупеющему миру кость в виде совершенно бесполезных работ, надменные апостолы компетентностного произвола наштамповали у станка болонского мракобесия достаточно «диссертаций», чтобы снять с себя любые обвинения в отставании от «актуальных тенденций развития». Тем временем актуальные тенденции развития «педагогической мысли» в русле компетентностного подхода в России носят *все признаки образования… современной педагогической теологии.* Приведём главные.

Во-первых, расшатанные министерскими реформами педагогические университеты с профильными кафедрами педагогики напоминают семинарии с главным предметом – богословие, в котором ничего доказывать не нужно, всё должно приниматься на веру безоговорочно: компетенции, технологии, инклюзии и т. д. Такой обязательный критерий науки, как достоверность знаний, заменяется главенствующим положением кафедры в заведении, которое, якобы, говорит само за себя, ведь систему не меняют, да и студенты спрашивают всё реже, будучи постоянно занятыми тыканьем в свои пищащие айфоны и смартфоны.

Во-вторых, если доказать наличия умения не требовало лишних усилий (результат обучения езде на велосипеде – умение ездить на велосипеде; результат обучения игре не пианино – умение сыграть, к примеру, «Собачий вальс»; результат обучения немецкому языку – умение понимать и говорить по-немецки на коммуникативно достаточном уровне), то доказать наличие компетенции под силу лишь экстрасенсам и гадалкам. Любого «педагога-педагога» можно поставить в тупик требованием доказать а) формирование и б) компетенции у конкретного индивида. Данный приём используется мною регулярно и успешно на обсуждениях диссертаций по 13.00.02.

Досадно, что в начале XXI века так называемым «учёным» с корочками кандидата и доктора наук приходится объяснять, что залогом верифицируемого и достоверного научного знания выступает *научно-атеистический подход*, который, вопреки критику библии Б. де Спинозе, является никоим образом исторически не утраченной необходимостью[57], а наоборот, способствует «*ускорению социально-экономического и научно-технического прогресса*» [Бабосов, 1986, с. 50–53]. С точки зрения научного материализма, для любого вида «компетенций» в кортикальных структурах головного мозга человека должны образовываться нейронно-синаптические связи, как это происходит в случае умений. Но если последние достаточно выпукло и полно отслеживаемы в социальной плоскости, т. е. становятся частью поведения человека, что не требует их нейробиологической верификации, то наличие «компетенций», тем более формируемых, нужно доказывать. Для этого «педагогам-педагогам» понадобится, к сожалению, ещё не изобретённый магнитно-резонансный томограф с разрешением в один микрон, позволяющий фиксировать появление новых синаптических образований в неокортексе. При этом хотелось бы предельной определённости в плане сепарирования одной «компетенции» от другой, как это и происходит в педагогических диссертациях: ведь на синапсе не написано, к какой «компетенции» он относится (табличку никто не закрепил), а тексту на бумаге всё равно, к каким изменениям в неокортексе обучающихся приведёт «инновационное» педагогирование. Поэтому, дабы исключить совпадение одного вида «компетенций» с другими, можно предложить будущим дважды-педагогам на защите диссертации доказать, что речь идёт именно о «дискурсивной» или «дискурсивно-коммуникативной компетенции» на основе образованного и отчётливо различимого морфологического субстрата в мозге человека. До тех пор, пока этого не произошло, любые распространения о «компетенциях» следует считать конъюнктурными инсинуациями и не путать с настоящей наукой, оперирующей инструментами верификации (доказательства) / фальсификации (опровержения) и ставшей возможной только благодаря расширению представлений об устройстве и функционировании человеческого мозга как продукта эволюции (см. также о цефализации §7).

[57] Ср.: Spinoza B. de. Tractatus teologico-politicus. London, 1862. 359 p.

В-третьих, неразвитость самих педагогов – залог неразвитости общества. Практически во всех современных диссертациях по педагогике, защищённых в период пребывания в должности министров Фурсенко и Ливанова, гуманитарность в образовании обосновывается через «духовность»[58]. Складывается ощущение, что спиритуальные практики или близость педагогов к казённому православию в ответе за то, кем станет ребёнок – гуманитарием или естественником. Являясь в действительности симптомом скуднейшего кругозора, мировоззренческая серость возводится в эталон и предлагается в качестве полноценного воспитательно-образовательного стандарта, при этом ни одна разновидность педагогов не удосужилась в своей жизни прочесть даже самую захудалую книжку по антропологии. Таким образом, сам факт, что педагог работает с мозгом ребёнка, очевидно, настолько же идеологически неудобен и неприемлем, как в своё время откровения Дж. Бруно на костре Святой инквизиции. Если задать вопрос членам среднестатистического диссертационного совета по педагогике, читал ли кто-нибудь из них «*Педагогическую поэму*» А.С. Макаренко, в ответ разразится либо гулкая тишина, либо профессиональное враньё, чем «педагоги-педагоги» уже давно перестали удивлять.

Безусловно, если читать только те «высокоинтеллектуальные» плоды «педагогической мысли», которыми орнаментированы списки публикаций «педагогов-педагогов», не выходящих за рамки «компетентностного подхода», то так никогда и не узнаешь о синапсах, старении нейронов, пролиферации нейробластов и акватической теории происхождения эректильности *homo*. Чрезвычайно опасным мероприятием вообще было бы объявление толпе важных держателей корочек доктора педагогических наук банального факта нейробиологии о том, что никаких «компетенций» в подкорковых структурах мозга человека не существует (во всяком случае, нейробиологи ничего об этом не пишут, очевидно, потому что эволюция не сочла такие субстраты нужными), как и самого компетентностного подхода, подменяющего формирование творческой личности формированием «компетенций», напоминающих интегральные полупроводниковые микросхемы ПЗУ в ЧПУ робота.

[58] Научно-материалистическое толкование «духовности» дано публицистом А.Г. Невзоровым (http://nevzorov.tv/2012/12/kultura-stala-predmetom-torga-sobaka-ru-29-noyabrya-2012/).

Можно себе представить, насколько дистрофично содержание диссертаций «дважды педагогов» и насколько опасна для самой педагогики питательная среда педагогических кафедр, если единственное, что умеют выпускники педагогических вузов после многолетней обработки сознания специалистами по «компетенциям», это вменять обучающемуся вину за допущенную ошибку с интонацией разгневанного проповедника, уличившего вас в «богомерзком» деянии (то, что ошибка – это шанс узнать что-то новое, их попросту не научили).

И если позиционирование себя исключительными специалистами в том, что, по сути, является вольной интерпретацией концепции генеративной грамматики Н. Хомского (см. об этом подробнее §5) и, таким образом, не может считаться разновидностью научного знания, ещё можно списать на отсутствие научного кругозора, то агрессивные заявления «педагогов-педагогов» о том, что доктора других наук (например, филологических) «некомпетентны в педагогике» и «не понимают, с какой стороны подходить к ребёнку», уже можно квалифицировать как надменность, мотивированную не иначе как обладанием корочки доктора педагогических наук. При этом большинство обладателей такой корочки не знают даже того, что методы делятся не на теоретические и эмпирические, а на обще- и частнонаучные, и метод опроса, не будучи на службе у социологии, выявляет не более чем мнение респондента, которое никак не обеспечивает прирост научного знания и не может выступать даже поводом для бумагомарательства[59].

Вероятно, поэтому уже давно не вызывает удивление то обстоятельство, что от педагогов, пишущих докторские диссертации на тему «*Как эффективно обучать студентов тому-то в рамках формирования такой-то компетенции*», студенты давно сбежали к филологам или философам, которые исповедуют банальную широту как основу для появления новых знаний о мире. Сегодняшние педагоги, активно сетующие на деградирующее общество, забывают, что деградация начинается с пустых шаблонных диссертаций по педагогике с подделанными данными о педагогических экспериментах, в большинстве случаев вообще не проводившихся, т. е. с головы самого педагога.

[59] Аспирант одной из таких педагогических кафедр выявлял эффективность «интерактивного обучения» методом опроса мнения студентов, а затем на основании собранных данных сделал вывод о том, что респондентов обучали достаточно эффективно.

Согласно данным современной антропологии единственное, что отличает человека от животного, это наличие человеческой среды (иногда к этому добавляется творческое мышление [ср.: Солбриги, 1982, с. 327]). Несложно догадаться, что главной особенностью этой среды, делающей человека человеком, является накопленный опыт, передающийся последующим поколениям (см. об этом также §3). Важнейшей задачей педагогики и является донести этот опыт, а не формировать бесконечные «компетенции» на безгранично терпеливой бумаге. Ведь если мы больше не учим человека быть человеком, то перед нами обычное говорящее животное, причём признак «говорение» в чистом виде наследуется и катализируется через саму социальную среду (см. об этом §4, §5). Следовательно, думать, как товарищ Швондер в известном романе М.А. Булгакова, что говорение – есть признак некой «особой разумности», в XXI в. предельно несерьёзно (см. об этом также §10). Неграмотность и следующая за ней деградация населения – результаты не столько бездарной политики министерства, сколько подстройки большинства педагогов под текущий цвет идеологических обоев. Невозможно себе представить, как бы мы жили сегодня, если бы Коперник, Лаплас, Пастер, Дарвин, Павлов, Алфёров и многие другие подстраивались бы под действующую модель политики. Задача любого педагога – научить, но если педагог-филолог учит филологии, педагог-историк – истории, педагог-химик – химии, то чему учит педагог-педагог? Правильному толкованию «компетенций»? И почему это возводится в основополагающие принципы современной науки педагогики, стоящей на фундаменте достижений выдающихся предшественников?

Безраздельное властвование «компетентностного подхода» с использованием «информационно-компьютерных технологий» в педагогике уже привело к тому, что в «*Атласе профессий будущего*[60]» (после 2020 г.) в разделе «Образование» отсутствует профессия учителя[61]. Вместо неё разыгрываются лоты таких профессий, как «игромастер», «разработчик инструментов обучения состояниям сознания», «экопроповедник», «тренер по майнд-фитнесу», «ментор стартапов» и т. п., хвалящих своей англофонией потребительские вкусы заказчиков.

[60] http://atlas100.ru/.
[61] http://atlas100.ru/catalog/obrazovanie/.

Очевидно, с таким подходом, как компетентностный, профессию учителя в будущем просто заменят электронные гаджеты для тыканья пальцем в экран, тенденцию к чему уже можно наблюдать практически повсеместно в России. Конечно же, составители «Атласа» (в большинстве своём менеджеры Высшей школы экономики, получавшие образования за рубежом и разрабатывавшие предательские «критерии эффективности» для российских вузов и педагогов), не потрудились пригласить даже захудалого педагога для апробации, потому что вклад «великих педагогических деятелей» в современное образование настолько «велик», что его можно без потерь заменить на пищащий электронный мусор вроде тамагочи. Данное познание говорит в пользу того, что Министерству образования и науки пора приступать к экономии расходных материалов (дипломов), а педагогам понять, что «сеющий профанацию пожнёт хаос». Ведь, как гласит агитационный плакат времён СССР, «*неграмотный – тот же слепой, всюду его ждут неудачи и несчастья*». А что будет, если слепыми станет вся страна?

В педагогике будущего как области, содружествующей с разными дисциплинами в вопросах передачи их содержания в педагогической практике, существуют две основные задачи: церебральный сортинг[62], основанный на идее определения возможностей человека по размеру отдельных участков мозга в частности с целью профессионализации, и формирование идеальных для обучения сред. Церебральным сортингом педагоги в широком понимании слова «педагог» занимаются уже давно, однако пока на основе анализа отсроченных результатов социального поведения обучающихся за неимением научно-технической базы. Для обучения иностранным языкам вторая задача подходит лучше, учитывая важность средовых моделей, однако и первая позволила бы условно разбить обучающихся на две большие группы: одну для обучения, к примеру, детищу Огдена-Ричардса «*Basic English*» объёмом 850 слов и вторую, где владение латинскими цитатами вроде «*rarum esse oportet quod diu carum velis*» и средствами текстовой когезии (*ergo, secundam naturam, igitur, in puncto* и пр.) не является чем-то особенным. Церебральный сортинг существенно сэкономил бы время и нервы педагога, вынужденного порой обучать первых и вторых совместно.

[62] См. об этом подробнее: Савельев С.В. Церебральный сортинг. М., 2016. 232 с.

Итак, общее у всех оставленных за демаркационной линией науки подходов – постструктуралистский ламаркизм[63], преследующий идею описания «эфира из тонких флюидов» и порождённый презрением к собственно языковому (предметному). Ведь честно исследуя или преподавая язык, нельзя не прийти к антропологии, но честно изучая антропологию, нельзя прийти к «концептам», «фреймам», «дискурсам» или «компетенциям»[64].

В филологический *trivium* (лат. *трёхколейный путь*), образующий введение в дисциплины *Septem artes liberales* (Семи вольных искусств) – систему профанных наук, выступавшую в Средневековье образовательным минимумом (название введение получило благодаря аллегории М. Капеллы «*De nuptiis Mercurii et Philologiae*» (*О сочетании Меркурия и Филологии*), V в.), – некогда входила грамматика, наряду с риторикой и диалектикой [Schweikle, 2002, S. 2]. Сегодня этим минимумом владеют единицы, а среди знакомых мне когнитивистов, фреймологов, дискурсологов и специалистов по компетенциям, работающих преподавателями иностранного языка, – абсолютно никто, даже если последние являются важными обладателями корочек докторов наук и членов академий. Указанные атрибуты статуса у перечисленных гуманитариев скорее усугубляют подозрения в том, что мистицизм – практикуемый или поощряемый – существует в функции полюбовного и рукопожатного *modus vivendi* с «подмахиванием» рецензий, отзывов оппонентов, заключений организации и т. п. для «своих».

Быть может, развивая в своих работах идеи ламаркизма, носители сакрального постструктуралисткого знания элементарно продляют действие своих трудовых договоров, а быть может, и создают новую систему «вольных искусств» (когнитивистика, дискурсология, *компетентология), необходимую для выживания в «инновационной» вузовской среде постперестроечной России.

[63] См. об этом также: Воронцов Н. Н. Развитие эволюционных идей в биологии. М., 1999. С.201–210.
[64] Ср. цитату Ч.Ф. Хокетта «*Лингвистика без антропологии стерильна, антропология без лингвистики слепа*» [Hockett, 1973, p. 675].

§2. ПЕРСПЕКТИВЫ СРЕДОВОГО ПОДХОДА В ЯЗЫКОЗНАНИИ

Основополагающим для осмысления и имплементации средового подхода выступает познание *первичности среды и вторичности номинационной системы знаков,* составляющей язык современного *homo*. Отправной постулат излагаемого подхода таков: *язык не существует вне среды*. Под самой средой в её лингвистической трактовке следует понимать *совокупность разновесных, разнопорядковых, разновеликих условий существования, развития и деятельности говорящих индивидов и коллективов*. Различия в анизотропии самих сред обусловливают в конечном итоге различия между языками (ср. «л» в русском, неслоговую «ł» в польском и вокализированную «ў» в белорусском языке) и даже между говорящими. Средовый детерминизм процессов развития признаётся даже генетиками и этологами: ДНК, кодирующая белок живущих организмов при помощи кодонов, фактически сохраняет информацию о среде обитания особи, т. е. температуре, географических особенностях местности, роде занятий, питании, свирепости хищников и пр. [Докинз, 2015, с. 31–34].

Насколько же перспективен средовый подход для решения задач науки о языке?

Можно утверждать без преувеличения, что его использование показано там, где исследователю необходимо отталкиваться *от социального опыта говорящего индивида или коллектива* для абстрактного моделирования сложных процессов внутри той анизотропной среды, в которой существует сам язык, т. е. в широком диапазоне лингвистических дисциплин от а) лексической семантики до б) смежных областей исследований экстралингвистического характера на стыке социальной, контактной, ареальной, экологической и политической лингвистики.

А. Лексическая семантика (область интралингвистики[65]).

Практикум по переводу со слушателями ежегодных курсов в Российско-немецком доме города Томска выявил, что понимание переводчиками предложения «*ребёнок отбился от рук*» (нем. *Das Kind geriet außer Rand und Band*) целиком зависит от их социального опыта: одни считали, что «*ребёнка били, но он покончил с этим*» <жертва – ребё-

[65] См. об этом также §8.

нок>; другие были убеждены, что «*ребёнок непослушный и не хочет подчиняться*» <жертвы – окружающие>; третьи высказывали мнение, что «*ребёнок просто подрос*» <ребёнок перестал быть «ручным»>. Можно видеть, как содержание фразеологизма «*отбиться от рук*» (нем. *außer Rand und Band geraten*) варьирует в зависимости от индивидуального социального опыта, приобретённого переводчиками в различных средах, независимо от словарного значения самой единицы. Подобная эмпирия, возведённая в правило, может впоследствии вытеснять в текстах перевода словарную норму или успешно конкурировать с ней. Собственно, социальный опыт и выступает отправной точкой семантических изменений словарного состава (ведь содержание – эволюционно наиболее подвижная часть языкового знака), и, следовательно, одним из факторов разветвления языкового «корневища» (ризомы; см. об этом также §1, §5). В данном случае использование средового подхода может быть направлено как на выявление идиолектного содержания фразеологической единицы, положим, для редактуры текстов оригинала и перевода (разница между которыми обусловлена, прежде всего, порождением их в различных средах), так и на прогнозирование потенциальных «слабых звеньев» в прецедентных текстах перевода, выполненных разными переводчиками.

Б. Социолингвистика (область экстралингвистики[66]).

Индикациями применения средового подхода в данной области выступает необходимость комплексного описания языковых процессов внутри различных типов сред (диатопов). Среды, как и языки, существуют в диалектической множественности и подразделяются на более мелкие в соответствии с их коммуникативным радиусом, например, «язык семьи», «язык ближнего окружения», «язык населённого пункта» и т. д. Успешную реализацию средовый подход находит в труде В.А. Виноградова, А.И. Коваль, В.Я. Пархомовского «*Социолингвистическая типология*» (2008), посвящённом выделению коммуникативных сред в зоне африканской франкофонии на основании невозможности определить фактические границы распространения автохтонных идиомов путём идентификации их с политическими границами. Заслуживает внимания и работа А.И. Домашнева «*Немецкий язык в его национальных*

[66] См. об этом также §8, §10.

вариантах» (1983), освещающая вопросы строения современного немецкого языка и выявления характера различительных черт немецкого литературного языка в странах его основного распространения с учётом особенностей его средовой (национальной, региональной, территориальной) реализации.

В качестве примера потенциальной имплементации описываемого подхода можно привести практику описания языковых ситуаций в местах поселения малочисленных коренных народов Сибири. Некоторые миноритарные тюркско-алтайские изоглоссы, например, телеутский, существуют сегодня преимущественно в дисперсных коммуникативных средах, что зримо затрудняет выделение диалектических признаков языковых ситуаций, в которых сами миноритарные идиомы выступают зачастую нерепрезентативными компонентами: русский как язык-макропосредник со статусом государственного и формой литературного языка прочно укоренился в быту телеутов и медленно отвоёвывает у них право на использование его как наиболее мощного коммуникативного средства – L_1. По сути, русификация телеутов начинается не с лексических заимствований (последние видятся скорее симптомом данного процесса), а с изменением привычного уклада жизни под влиянием русской культуры, приобщения к атрибутам быта русскоязычного населения, заключения межэтнических браков, необходимости решения социально-экономических задач в современном мире, т. е. с качественного изменения среды обитания. Описывая эволюционно-хозяйственные особенности столкновения двух цивилизаций – «туземцев Сибири» и «экспансивного русского населения», выдающийся русский этнограф-востоковед В.В. Радлов отмечал: «*Телеуты стараются подражать во всём русским, чтобы обрести хоть какую-то точку опоры. Особенно ясно это заметно в их языке. Даже говоря между собой, они употребляют как можно больше русских слов*» [цит. по: Артюх, 2010, с. 167]. Противостоять давлению языков-макропосредников с выраженным функционально-стилистическим расслоением лексического фонда (что тоже следует отнести к результатам влияния различных сред использования литературного языка) даже в наиболее крупных населённых пунктах поселения телеутов в Кемеровской области [см. об этом подробнее: Tokmashev et al., 2015, p. 63] представляется весьма затрудни-

тельным. Необходимо подчеркнуть, что при такой расстановке статусов и той глубинной типологической разнородности контактных идиомов (русский как «язык вертикали», т. е. роста, социального продвижения, развития, vs. телеутский как «язык горизонтали», т. е. внутриэтнического общения, см. об этом также §4) внутри среды обитания телеутов любые меры языковой политики, направленные на сохранения телеутского языка или его ревитализацию, будут заведомо неэффективны.

Следует отдать должное педагогике, где средовый подход давно и успешно используется для решения извечных задач научения (ср.: К.К. Платонов, 1986; В.М. Мунипов, В.П. Зинченко, 2001; Ю.С. Мануйлов, 2002; И.А. Колесникова, М.П. Горчакова-Сибирская, 2005; Т.В. Менг, 2008; и др.). Применительно к теории и методике преподавания иностранных языков, изначально лингвистической дисциплины, данный подход, по нашему убеждению, должен выступать фундаментом для моделирования любых процессов обучения. Так, освоение иностранного языка есть не что иное, как научение пользованию им. Отсутствие привычки использовать другую, незнакомую номинационную систему с её особенностями и причудливостями преодолевается наилучшим способом через искусственное моделирование «говорящей» среды. Ведь ребёнок в базовом континууме владеет языком лучше только потому, что ежедневно практикуется в его использовании, т. е. «погружён» в среду. Говорящий вне среды распространения языка пользуется им лучше остальных также благодаря лишь регулярным тренировкам (упражнениям), которые в конечном итоге определяют уровневую разницу, например, между A1 и C1. Специалисты в области иностранных языков борются с их забыванием через систематическое напоминание себе об особенностях изучаемых языковых систем эффективней окружающих, чем от них и отличаются. Преподавание иностранного языка в школе и вузе – *фактически обучение билингвизму* (или трилингвизму, если в семье ребёнка уже используются два языка). Таким образом, билингвизм (трилингвизм и мультилингвизм) – есть попытка человека преодолеть границы собственного коммуникативного пространства, раздвинуть горизонты познания языкового многообразия человеческой среды и приспособиться к условиям постоянно изменяющегося окружающего мира.

§3. СРЕДА И КУЛЬТУРА. ДУАЛИЗМ ПРИРОДЫ *HOMO*

В своей статье «*Language and Environment*» (1912)[67] выдающийся североамериканский этнограф и лингвист Э. Сэпир считает заблуждением точку зрения, «*to explain any one trait of human culture as due solely to the force of physical environment*» (*согласно которой любая особенность человеческой культуры может быть сведена к тому или иному физическому фактору окружающей среды*[68]) [Sapir, 1912, p. 226]. В последующих рассуждениях учёный многократно возвращается к данному тезису, демонстрируя несколько зауженное, почти натуралистическое понимание окружающей среды как «*physical factors*» (физических факторов) или «*physical environment*» (физического окружения) (с. 227), противопоставленного социальному (культурному), на примере среды обитания индейцев нутка на Тихоокеанском побережье Канады.

Спустя более века после выхода в свет статьи Э. Сэпира нельзя не оспорить такое понимание среды в силу значительно изменившегося содержания данного термина в современной науке: имея дословное значение <*середина*>, он фактически обозначает противоположное ей – окружение (ср. предлог «*среди / средь*» в русском языке) и используется совокупно для «*биотических (живых), абиотических (неживых) и антропогенных условий обитания особи, популяции или вида*» [ср.: Афанасьев, 1986, с. 40]. Итогом изменения содержательного компонента терминологической единицы, как правило, выступает появление у неё синонимических связей с другими терминами, зачастую с широкой семантикой: в нашем случае – с термином «*культура*».

В научной практике «культура» интерпретируется в фокусе различных областей знания и соответствующих аппаратов. Зачастую интерпретации противоречивы и даже взаимоисключающи: только в области культурологии на отрезке между И.Г. Гердером и У. Эко понимание культуры трансформируется от «*органичного эволюционного процесса развития, саморазвивающегося целого*» [Гердер, 1977, с. 231] до её постмодернистского семиозиса в качестве «*постоянного кризиса как условия существования*» [Эко, 1998, с. 31].

---

[67] Sapir E. Language and Environment // American Anthropologist, 1912. Vol. 14. P. 226–242.

[68] Цитируется по: Сэпир Э. Язык и среда // Избранные труды по языкознанию и культурологии. М., 1993. С. 270–284.

Сегодня вызывает интерес естественнонаучная интерпретация культуры, связанная с популяризацией исследований в области эволюционизма и *противопоставляющая биологическое и генетическое (соматическому) культурному (экзосоматическому)* [ср.: Докинз, 2015, с. 16]. Обращает на себя то обстоятельство, что изучение человека и его места в живой природе естественными науками не делает знание гуманитарным; мало того, оно позволяет узнать о *homo loquens* (человеке говорящем) и *homo litteratus* (человеке культурном) несоизмеримо больше, чем все исследования отечественных психолингвистов и (лингво)культурологов вместе взятые. Естественнонаучная антиномия «*соматический vs. экзосоматический*» характерна для широкого спектра работ в русле эволюционизма и является не прихотью учёных самого различного профиля – этологов, биохимиков, систематиков, генетиков, нейробиологов и т. п., но логическим следствием анализа сложнейших процессов становления, жизнедеятельности и выживания особей *homo* в природе в целом и внутри человеческой среды в частности.

В основе данной оппозиции лежит дуализм природы *homo*, восходящий к особенностям эволюции нашего вида: смене среды обитания, поиску и распределению ресурсов [Morris, 1994; 1999]; преодолению каннибализма, снижению роли генетически детерминированных инстинктов в поведении [Савельев, 2014, с. 54–55, 67] и, главное, переходу от механизмов естественного к таковым искусственного отбора, т. е. селекции особей по поведению. Благодаря данному переходу у человека наряду с бинарной (инстинктивно-гормональной vs. рассудочной) нейробиологической системой контроля поведения, представленной лимбическим комплексом (висцеральным мозгом) и неокортексом[69], существует бинарный механизм наследования поведения – геномный (генетический) vs. внегеномный (культурный) [Савельев, там же]. Сам переход к искусственному отбору, начавшийся около 2,5 миллионов лет назад [Зубов, 2010, с. 3], можно считать отправной точкой формирования человеческой среды, главными атрибутами которой должным образом выступают *искусственность, социальность и деанимализация*.

[69] Существование двух центров и, соответственно, двух методов анализа событий С.В. Савельев связывает с появлением конфликтов и противоречий в поведении человека: социально-биологический блок приобретённых (животных) инстинктов построен на скрытой реализации гормонально-инстинктивных форм поведения, а рассудочный набор методов сформирован на базе приобретённых социальных инстинктов [Савельев, 2014, с. 72].

По мере вступления в силу механизмов искусственного отбора изменяется и само понятие «человек», центральное для среды *homo*: оно становится всё менее биологическим, а более культурологическим, пока за ним окончательно не закрепляется значение, антонимичное понятию «животное». Появление в мозге ассоциативных центров манипуляции [Савельев, 2014, с. 56], дающих архантропу «власть над предметом» [Невзоров, 2012, с. 468], инициирует колоссальный всплеск манипуляторной активности *homo*, первыми «плодами» которой становятся объекты его материальной культуры: примитивные атрибуты охоты и бытовой инструментарий. Стремительное развитие социальной среды как залог накопления и преумножения материальных ресурсов даёт мощный толчок к появлению совершенно новых и ранее не известных явлений средового происхождения: языка, религии, интеллекта.

И изобретение языка как общедоступной номинационной системы знаков, являющейся прямым следствием формирования надбиологического мышления популяции *homo* (см. об этом также §5), и появление понятия «бог» с предикатом «сверхчеловеческого»[70] представляются продолжением действия механизмов поведенческого контроля в непрерывно усложняющихся условиях искусственного отбора. Вопреки мнению отдельных мистиков, возникновение языка и религии является не выражением «смыслов откровения бога» [ср.: Мечковская, 1998, с. 313], а целиком и полностью следствием развития и компликации отношений внутри человеческой среды и её собственной семиотической природы. Интеллект как «комбинаторный-рекомбинаторный инструментарий биологической индивидуальности, позволяющий ей приспособиться к меняющимся условиям среды» [Невзоров, 2012, с. 478–485] выступает итогом длительной внутрисредовой селекции приобретённых знаний и в своей коллективной форме сообразен культуре как «огромному интеллектуальному механизму» [Лотман, 2000, с. 389]. В результате формирования коллективно используемого и социально наследуемого интеллекта со временем образуется новая особенность среды – *вторичность* (апостериорность), благодаря которой среда с её значимыми элементами контроля поведения особей *homo* способна к собственному воспроизводству – *репликации* (см. об этом §4).

[70] См. подробнее: Dawkins R. The god delusion. London, 2006. 464 p.

Под вторичностью следует понимать не «побочный» статус среды по отношению к собственно биологическому фундаменту всего живого, что так часто используется как аргументах против разного рода мистификаций природы мышления человека [ср., к примеру: Lashly, 1929], а вторичность процессов, характеризующих средовую анизотропию.

Внутри среды антиномия «биологическое vs. культурное» и соответствующие поведенческие паттерны приобретают всё более выраженный контраст: развиваясь в направлении от анимализма, стремительно социализирующаяся популяция человеческих особей вырабатывает на их основе целую систему бинарных оппозиций, ср.: «биология (физиология) vs. культура», «биологический индивид (особь) vs. личность», «инстинкты vs. рассудок», «ген vs. мем» [Dawkins, 1976] и т. п. Примечательно, что иерархическая соотнесённость приведённых антиномий, обусловленная эволюцией вида *homo*, значительно уступает их оппозитивной (линейно-контрарной) трактовке в обиходной и научной практике. Дуализм прослеживается вплоть до разговорных выражений «*уничтожить морально и физически*» и «*быть никем и ничем*», коррелирующих с соответствующими эволюционными ипостасями человека. В связи с этим уместно уточнить, что вопросы «кто ты?» и «что ты?», существующие и в других языках, направлены на разные элементы оппозиции «биологический индивид (особь) vs. личность»: кто – на биологического индивида, что – на «личность» как единицу среды (ср. в немецком языке: ***wer*** *bist du?* – кто ты (какого ты роду, племени)?; ***was*** *bist du?* – кто ты по профессии (какой твой *modus vivendi*)?).

Следует особо подчеркнуть, что «личность» – *обозначение без остатка культурологическое, никоим образом не нейробиологическое*: «личностью» зачастую обозначается «культурная сторона человека», так сказать, его социальная фактура, которую специалисты по «компетенциям» настойчиво пытаются инвентаризировать, называя это образованием[71]. Само понятие «личность» насквозь пронизано мистицизмом и не выдерживает серьёзной критики. Любые попытки психологов, педагогов, культурологов и прочих профессиональных мистиков его терминологизировать заведомо безрезультатны (см. об этом также §10).

[71] Наиболее упрощённая трактовка образования могла бы выглядеть как приспособление индивида к выживанию внутри среды.

Приведём примеры: на работе я – профессор, дома – муж и отец, на даче – садовод, на пляже – отдыхающий, в спортзале – спортсмен, за рулём – водитель, в библиотеке – читатель, в кино – зритель и т. д. Кто он из перечисленных ипостасей на самом деле, т. е. что он за «личность», сказать весьма сложно. Скорее всего, никакой личности ни в мозге, ни в социальном пространстве попросту не существует (а с ней и личностного подхода к полному разочарованию «инновационных педагогов»). Известно лишь, что повреждение фронтальной (лобной) доли неокортекса ведёт к «нарушению единства личности» [Лурия, 1962, с. 193, 195], следовательно, в ней расположены цитоархитектонические и функциональные поля, отвечающие за хранение личностно значимой информации и её идентификацию: кто я, как меня зовут, что я здесь делаю, что я умею и т. п. В реальности же перечисленные ипостаси (профессор, муж, читатель и пр.) уместно назвать социальными ролями (и здесь Шекспир со своей крылатой фразой «*мир театр, а люди в нём актёры*» больше учёный, чем все педагоги, использовавшие личностный подход в своих «шедевральных» диссертациях, вместе взятые). Вполне вероятно, что обстановка делает нас такими, какими мы и должны быть, ведь в спорте не бывает профессоров, как и на даче или на пляже. В спорте есть спортсмены и новички, на даче – огородники, а на пляже – отдыхающие и т. д. Что это, если не роли, исполняемые под конкретные ситуативно-пространственные «декорации»?

Результаты поисков личности в голове человека также весьма удручающи: трактовки оной как «эмоционально-динамического паттерна, устойчивого типа эмоционального реагирования, предиспозиции ведущей нейропсихологической тенденции» [ср.: Собчик, 2000] равноценны попыткам наполнить конкретной органикой мистическую абстракцию. А.Г. Невзоров в присущей ему памфлетистской манере отказывается признавать в «личности» научное содержание, как и вообще видеть разницу между личностью летучей мыши и таковой А. Эйнштейна: «*Ровно в той же степени, как и «человек», понятие „личность“ сформировано из искусственных декоративных признаков, в числе которых даже костюм, причёска, привычка, осанка, биография, „свойства характера“, речь, религия, «национальность» и прочие вторичные, по сути, малосущественные особенности, навязанные местом*

и временем рождения, традициями и нюансами социума. Все эти качества, приметы и особенности существенны лишь для внутривидовых игр. Это просто аксессуары, которыми эпоха и различные обстоятельства декорируют самого homo, так и интересующее нас свойство, именуемое „личность“» [Невзоров, 2012, с. 263–264]. Действительно, игры в «личности» напоминают списки детей из вестибюля детского сада, где напротив фамилии и имени ребёнка указано животное, с которым ребёнок себя идентифицирует: Иванова Лиза – белка, Петров Гриша – зайчик. Несмотря на всю сценическую привлекательность данной практики, любой здравомыслящий человек понимает, что такая идентификация не делает Лизу белкой, а Гришу зайчиком. В конечном итоге, называя себя «личностью», *homo* всего лишь претендует на уникальность в человеческой среде, задача которой, наоборот, как можно больше всех «очеловечить», т. е. лишить биологической индивидуальности. Поразительно, но это справедливо даже в отношении животных, которые долго живут в окружении людей и вырабатывают поведенческую антропоморфную мимикрию, по которой мы сличаем, например, упитанную собаку и такого же упитанного её хозяина.

Тем самым, подтверждаются искусственность и вторичность всех элементов бинарных оппозиций, характеризующих культурологическую природу *homo*[72]. Именно поэтому геном не сохраняет любую средовую информацию – о личности, языке, интеллекте, национальности и пр. Здесь нужно отдать должное просветительской деятельности Р. Докинза, первым противопоставившего информацию биологического и культурного порядков в своей антиномии «*ген vs. мем*» [Dawkins, 1976]. «Мемы» (греч. «*подобие*») – это репликаторы идей, поведенческих стереотипов, символов, эмоций и пр. В электронной сети Интернет мемы распространяются в виде картинок с иллюстрацией наиболее экспрессивных эмоциональных паттернов (Интернет-мемы), например: эрратив «превед!», акроним *LOL* (англ. *laughing out loud* – «*громко смеясь*»).

[72] Здесь уместно сделать оговорку, что, несмотря на искусственность и вторичность, процессы экзосоматического характера приобрели для популяции *homo* гораздо бóльшую ценность, нежели биологические. Понятия «культуры» и «человека» нафаршированы таким количеством смыслов, что за ними едва ли различим биологический «носитель». Здесь и история мирового фашизма, безжалостно подмявшего под себя хрупкую биологию человека, и упрёки в адрес соседей-алкоголиков в асоциальности, и традиция считать отцом ребёнка не биологического отца, а человека, «что-то давшего ребёнку в жизни». Безусловно, такое восприятие экзосоматического внутри человеческой среды нельзя не считать субъективным, но и не признавать эволюционно значимым для самого вида *homo*.

В настоящее время один из моих учеников работает над проблемой классификации мемов в языке. Мы обнаружили, что с развитием медийной культуры классификация паремиологических единиц Г.Л. Пермякова [Пермяков, 1988] дополнилась новым явлением, и решили обосновать новый тип паремий в сравнительно-сопоставительном аспекте. Характеристикой языковых мемов является их выраженная экспрессивность, ироничность и обиходный, практически бесписьменный характер. Обозначение «мем» в языкознании относительно новое, во многом субституирующее привычное содержание термина «афоризм». Как представляется, мем есть расхожая эволюционировавшая пословичная форма, сгусток культурного опыта с характером цитаты. Будучи заготовленными ёмкими ярлыками для культурных сценариев и поведенческих стереотипов, мемы являются наивысшей кристаллизацией номинативной функции языка. Примечательно, что не все мемы входят в паремиологический фонд, а только фразеологические, т. е. состоящие минимум из двух единиц. К прочим особенностям мемов можно отнести графическую гибридность (*100500 / стопи(ц)цот / стопитсот / стпцт*) и интернациональность («*Нельзя просто (так) взять и…*» – так называемый «мем Баромира»[73]).

Вопреки познанию об искусственности и вторичности всего экзосоматического любые изменения в культурном (социальном, политическом) пространстве *homo* автоматически влекут за собой последствия для его биологического существования. Приведём в качестве подтверждения следующую статистику: «*В 1964 г. руководством Чили была принята субсидируемая государством программа планирования семьи с целью сокращения высокой смертности вследствие осложнений после нелегальных абортов; в результате показатели материнской смертности снизились со 107 смертей на 100 000 живорождённых до 5 в 2000 г.*» [Шепард, Бисера, 2007, с. 55]. Приведённый пример наглядно иллюстрирует, что запрет абортов и их гибкое регулирование оказывают значительное влияние на воспроизведение человеческой популяции. Таким образом, дуализм природы *homo* логичнее представлять не как извечный конфликт биологического и культурного, а как хрупкое равновесие латеральных и взаимовлияющих начал внутри человеческой среды.

[73] http://boobooka.com/memy/mem-boromir-ili-nelzya-prosto-tak-vzyat-i/.

Латеральность можно признать принципом развития многих органических и искусственных систем в природе человека, в том числе и мозга [Ferrier, 1986]. Она пронизывает всю иерархию явлений соматического и экзосоматического порядка внутри человеческой среды вплоть до языкового знака, имеющего всего две стороны – экстенсионал (форму, обозначающее) и интенсионал (содержание, обозначаемое). Первой стороной традиционно занимаются грамматика, фонетика, орфография (эрфоэпия и ортология), второй – семантика, прагматика, логика. Такие дисциплины, как лексикология и стилистика, изучают обе стороны знаков; будучи филологической макродисциплиной, стилистика снабжает лексикологию теорконструктами и методами исследования «физики» языка (см. об этом также §9). Динамично развивающиеся ветви исторического языкознания контактная и социальная лингвистика призваны описывать историю языковых знаков и их бытность в различных языковых системах в отдельные периоды истории.

Лингвокультурологию, обслуживающую сегодня интересы концептологов и фреймологов, уместно поместить в промежутке между самим языкознанием, исследующим и описывающим генезис и функционирование знаковых систем, и собственно культурологией в качестве дисциплины, изучающей стихийно самозарождающиеся эндогенные тенденции восприятия коллективом носителей внутрипопуляционного опыта и его отражение в языке, которые приводят в итоге к разнице между языками (ср. опущение в сочетании «*тому назад*» пользователями русского языка элемента «*тому*» и, наоборот, пользователями украинского языка – элемента «*назад*»). Познание того, что многократно ускоренная внутренняя речь (мышление) появилась только после звучащей, «убрав из неё фонетическую (*анатомизированную – прим. Ю. К.*) речь» [Невзоров, 2012, с. 219], а их последующее развитие происходило латерально, делает базовый тезис лингвокультурологов о «первичности когнитивного, духовного и пр.» в природе языка несостоятельным. Поэтому современные изыскания в области лингвокультурологии и в особенности психолингвистики вынуждены считаться с опытом изучения человека, накопленным естественными науками, не только для прироста добротного междисциплинарного знания, но и верифицируемости выдвигаемых тезисов в гуманитарной сфере.

Благодаря латеральному характеру взаимодействия биологического и культурного измерений «картотека» головного мозга человека (номинационная система, см. об этом ранее в 1.1) непрерывно актуализируется. (Предлагаю обозначать этот процесс *синхронизацией*.) Так как актуальность понятий выступает во многом условием выживания индивида в человеческой среде, синхронизацию латеральных процессов следует признать тем связующим звеном, которое и определяет качественную разницу между пользователями языка в качестве L_1 и изучающими.

В завершение предлагаю ответить на вопрос о количественном соотношении среды и культуры.

Исходя из приведённого ранее определения В.Г. Афанасьева, можно заключить, что культура эквивалентна антропогенным факторам среды, т. е. составляет приблизительно 1/3 средового содержания. Однако в зависимости от особенностей конкретной культуры данный показатель может значительно смещаться в сторону увеличения или уменьшения: где-то антропогенное преобладает над природным (в индустриальных регионах), где-то – наоборот (в средах с высокой экологической сознательностью населения).

Человеческая среда неоднородна в силу, прежде всего, культурного многообразия популяции *homo*, оккупировавшей планету и своей культурной деятельностью нанесшей её экосистеме существенный урон. Новая геологическая эпоха, обозначенная голландским химиком, лауреатом Нобелевской премии П.Й. Круценом и американским экологом Ю.Ф. Стёрмером *антропоценом* [Crutzen, Stoermer, 2000, 17], является симптомом увеличения культурного (экзосоматического) сегмента (антропогенного фактора) внутри человеческой среды. Коллективные игры *homo* в «личности» привели к колоссальной дисперсии культурной материи на земном шаре, а та, в свою очередь, вопреки библейской легенде о вавилонском зиккурате, – к поражающему воображение языковому многообразию.

§4. ЯЗЫК В СРЕДЕ: РЕПЛИКАЦИЯ ИЛИ ВИРУС?

Чтобы ответить на поставленный в заглавии вопрос, нужно понять, как функционирует язык в человеческой среде.

Ранее было установлено, что язык является её ингредиентом и результатом её преобразования человеческим социумом. Среда увеличивается и усложняется благодаря своей кумулятивной (лат. *cumulatio* – «увеличиваю, скапливаю») функции: по мере накопления социального опыта человеком в неё добавляются всё новые ингредиенты и условия функционирования, ведущие в частности к дроблению культурной (а с ней и языковой) материи на русскую, немецкую, французскую и пр. Среда напоминает слоёный пирог, который с каждым новым слоем всё больше разнообразится и изменяется. Среду также уместно сравнить с коктейлем, в который добавляются всё новые и новые ингредиенты, делающие вкус неповторимым и отличным от вкусов других напитков. Когда-то в среду добавился ингредиент язык, и теперь вкус среды без него неполноценен. Только испив данный коктейль, можно стать полноценным членом среды и пользователем языка.

Частично функцию адаптации ребёнка в среде берёт на себя образование, но как показывает практика, инфляция его содержания, методов и форм в современном мире тенденциозна [ср.: Precht, 2013], а значит, в некотором смысле принципы развития среды расходятся с принципами образования, о чём уже говорилось в пункте 1.3.

Развитие человеческой среды привело к тому, что функция контроля поведения частично перекладывается на язык. Слово, как давно известно, является поступком. Оно уже не столько описывает действие, сколько само по себе является действием. Данное качество слов человеческого языка основоположник теории речевых актов Дж. Остин обозначил *перформативностью речи* [Austin, 1962]. В ЗАГСе, на суде, во время произнесения клятвы и т. п. при помощи средств языка мы совершаем поступок – так действует человек социальный. Обиходные выражения «*поймать на слове*», «*тянуть за язык*», «*взять обещание*» как нельзя лучше передают характер новой функции, которой с определённого момента истории нашего вида оснащён язык: *функцией контроля поведения особей homo внутри человеческой среды* (см. также §7).

Объём вербального контроля поведения человека изменяется в зависимости от конкретной коммуникативной ситуации. Точные цифры могут быть получены только в результате специальных исследований. Сегодня известно, что вербальный контроль поведения связан с таким качеством *homo*, как доминантность, выступающей залогом социального благополучия особей нашего вида [Савельев, 2014] и итогом функционирования «автономных мотивационных систем нашего лимбического комплекса» [Despeghel, 2007]. Речевое поведение отдельных участников коммуникации может само по себе эксплицировать поведенческую стратегию. Например, постоянное перебивание собеседника говорит о стойкой потребности доминировать. Доминантная поведенческая схема отличается от обычного речевого акта несогласия (возражения) устойчивостью, т. е. когда человек систематически действует по схеме: «*скажут „чёрное“ – я отвечу „белое“*», «*скажут „белое“ – я отвечу „чёрное“*». Подключение языка к поведенческим схемам человека стало импульсом для развития и диверсификации терминологической семантики, появления моносемии и в буквальном смысле юридически зауженных интенсионалов, так что «*разговоры по понятиям*», так популярные в криминальной среде России, могут иметь для коммуникантов весьма ощутимые последствия.

Воспроизведение детьми поведенческих образцов, особенно в так называемом «*критическом возрасте*»[74], может быть квалифицировано двояко: как реплицирование полезной информации, к которой Р. Докинз относит язык и другие культурные особенности среды, или как индикация «заражённости ментальными инфекциями», обозначаемыми британским исследователем «*вирусами мозга*» в его одноименной работе [Докинз, 2005]. Термин «вирус» используется Р. Докинзом, безусловно, в качестве метафорического обозначения вредной для развития ребёнка информации, которой можно отнести индоктринируемые религиозные догмы (веру), пагубные привычки, сомнительные увлечения и т. п., представляющие опасность для человека и в этом ничем не уступающие биологическим вирусам как паразитическим репликаторам.

[74] Под «*критическим периодом* или *возрастом*» (англ. *critical period*) понимается возрастной отрезок жизнедеятельности организма, в который нервная система особенно чувствительна к восприятию средовой информации. Впервые понятие было введено пионером нейрохирургии У.Г. Пенфильдом в 1959 г.

Примечательно, что и полезная информация (язык) и «ментальные инфекции» передаются от пользователя к пользователю одним и тем же методом репликации. Реплицирование является функцией сознания живых существ. Ребёнок воспроизводит исключительно то, что уже видел или слышал, поэтому в нашей среде нет ничего такого, что было бы принципиально новым: подавляющее большинство объектов, процессов, явлений вокруг нас реплицированы, т. е. воспроизведены. Человек видит машину соседа, и покупает себе похожую, видит дом и строит себе такой же. Следовательно, человек думает и говорит тоже конвенциональными (общедоступными и общепонятными) средствами, которые он когда-то слышал, а теперь просто воспроизвёл как магнитофонную запись, потому что так коммуницировать гораздо проще, чем изобретать всякий раз что-то новое (см. об этом подробнее §9).

Р. Докинз выделяет два качества, которыми должна обладать среда, благоприятная для реплицирования её полезных и вредных ингредиентов: «*во-первых, готовность аккуратно воспроизводить информацию и, во-вторых, готовность субъекта повиноваться инструкциям, включённым в копируемую информацию*» [Докинз, 2005, с. 5].

«*Живая клетка и компьютер идеально соответствуют данным требованиям. А человеческий мозг? Как дупликатор он, безусловно, уступает компьютеру или клетке в точности, и, тем не менее, он очень неплох. Свидетельство аккуратности, с которой мозг, в первую очередь детский, воспроизводит данные, предоставляет сам язык. Любой американец отличит Дальний Юг от Среднего Запада, Новую Англию от Хилбилли. Житель Нью-Йорка никогда не перепутает Бронкс и Бруклин. Аналогичные примеры можно найти в любой стране. Этот феномен означает, что человеческий мозг умеет копировать с изумительной аккуратностью (иначе акцент, например, Ньюкасла был бы недостаточно стабильным, чтобы его распознавать), хотя и с некоторыми ошибками (иначе произношение не эволюционировало бы, и все носители языка имели бы тот же самый выговор, что отдаленные предки). Язык эволюционирует, поскольку он обладает высокой стабильностью и незначительной изменчивостью – таковы необходимые предпосылки для существования любой эволюционирующей системы*» [Докинз, там же].

Таким образом, *человеческий мозг выступает своего рода копировальной машиной для ингредиентов самой среды*, становясь, тем самым, одним из важнейших условий её функционирования, развития и сохранения. Перечисленные функции среды возможны только благодаря механизму репликации. Если убрать эту особенность, то социальную среду, точнее её экзосоматический компонент, как разовый продукт эволюции нашего вида с очень высокой вероятностью настигнет системный коллапс, о чём красочно повествуют сценарии постапокалиптических триллеров. Репликация не просто продолжает среду посредством языка, проводящего невидимые нити между людьми, но и бесконечно усложняет её, добавляя в коктейль среды свежескопированные образцы поведения. *Калейдоскопическое усложнение природы экзосоматического компонента человеческой среды называется рекурсией*. По принципу рекурсии усложняется и синтаксис литературных языков. Немецкое обозначение «*Verschachtelung*» как нельзя лучше характеризует принцип рекурсии как «матрёшкообразно упакованные друг в друга предложения и их части». Хрестоматийным примером здесь выступают рифмы английского фольклора «*Дом, который построил Джек*», в которых фраза усложняется путём инкорпорации в неё другой фразы и т. д. И хотя лингвоантропологи давно отказали рекурсии в исключительно языковой уникальности [ср.: Пинкер, 2009; Бурлак, 2011], тем самым лишь подчёркивая её средовое происхождение, существуют языки, где рекурсия как таковая отсутствует[75] [Everett, 2005].

Дубликация в мозге человека осуществляется благодаря так называемым «*зеркальным нейронам*, расположенным в теменной и лобной долях; они отвечают за волевое копирование двигательных паттернов и сыграли важную роль в развитии общего словаря, имитируя визуальный образ произнесения звуков и согласуя его с услышанным» [Рамачандран, 2006, с. 94]. Мозг создаёт виртуальные копии явлений, объектов, процессов окружающего мира – зрительные и сенсорные образы (квалии), образующие в совокупности индивидуальную мысленную реальность. Жонглируя зрительными и сенсорными метарепрезентациями, выступающими основой для речи, человек мысленно воспроизводит

[75] К таким языкам относится, к примеру, *пирахан* – язык индейцев Амазонии. Отсутствие рекурсии совпадает с отсутствием имён числительных по причине того, что в сознании пирахан существует только «здесь и сейчас» (см. об этом подробнее: http://old.computerra.ru/magazine/334343/).

окружающую реальность и передаёт её средствами языка дальше. Здесь следует очень осторожно сепарировать достижения нейрологии от досужих рассуждений когнитивистов, навязывающих миру существование «ментальных сгустков» (концептов, фреймов), якобы предшествующих речепорождению и объединённых в некую загадочную «картину мира». Необходимо помнить следующее: во-первых, интралингвистика заканчивается на семантике, а не на зрительных образах хотя бы потому, что у знака нет образной стороны[76]; и хотя в неязыковом и языковом восприятии окружающего мира задействованы одни и те же нейронные механизмы, описание образа гиппопотама не может выступать объектом лингвистики в силу того, что любое отдельное восприятие данного животного и сопутствующая этому номинация будут произвольными и ситуативными, следовательно «концепт „*гиппопотам*“», – в случае появления такого прецедента в постструктуралисткой отечественной лингвистике, – будет являться не более чем нейрохимической иллюзией, ограниченной воображением и словарным запасом того или иного исследователя (см. об этом также §5); во-вторых, как отмечает С. Бурлак, «*когнитивного органа языка не существует*; язык выступает средством приобретения (средового – *прим. Ю.К.*) опыта, извлечённого из некоторой ситуации – реальной или вымышленной» [Бурлак, 2011].

Рассмотрим механизм репликации в социальной плоскости. Передача информации осуществляется по каналам общественных связей – от знакомого к знакомому, от родственника к родственнику, от любящего к любимому и т. д. (Трансмиттером и носителем индивидуально значимой средовой информации выступает при этом мозг каждого из нас.) Внутри этих же каналов происходит и её отбор с различной степенью фильтрации. Этим и отличаются особи *homo*: к одним «липнут» всякого рода «ментальные инфекции» – нанесение татуировок, бодимодинг, вейпинг, руфинг, селфи[77] и т. п., у других есть ко всему этому иммуни-

[76] Образность средств является объектом изучения функциональной стилистики. Э.Г. Ризель пишет о двух типах образов: первый – результат «столкновения» двух понятий из разных ономасиологических сфер (*Bildlichkeit*; к нему относятся сравнения и тропы); второй – продукт иллюстративной наглядности, создаваемой художником слова при помощи любых языковых средств (*Bildhaftigkeit*) [Riesel, 1959, S. 130].

[77] «Немецкая волна» приводит в своём репортаже «*Planking, Batmanning, Owling – die neuesten Trends im Internet*» замечательные примеры «ментальных инфекций», распространяемых через глобальную электронную компьютерную среду (http://www.dw.com/de/planking-batmanning-owling-die-neuesten-trends-im-internet-euromaxx/av-6710706).

тет, обозначаемый в среде «воспитанием». Концепция общества сетевых структур (англ. *network society*) М. Кастельса (2009) основана целиком на действии механизма внутрисредового реплицирования информации и во многом перекликается с теорией ризомы Ж. Делёза и Ф. Гваттари (см. об этом подробнее §1, §5). Действительно, социальное поле контактов человека выглядит как сеть, соединяющая людей именно по предпочтению одних ингредиентов среды другим. Ребёнок использует исключительно тот набор, который курсирует внутри сети его средовых контактов: это, прежде всего, семья, близкие родственники, школа, двор, группа контактов в компьютерной сети Интернет. Совокупно человеческие контакты и их содержание и представляют собой то, что в данной работе понимается под экзосоматическим компонентом человеческой среды: некий социальный разум, объединённый коллективным осознанием очевидности, значимости и неизбежности реплицируемых смыслоразличительных культурных ингредиентов.

Совокупность факторов, воздействующих на индивида внутри сети его контактов, обозначается *влиянием среды*, которое может быть непосредственным и опосредованным. *Непосредственное влияние среды* определяет привычки человека – как положительные, так и отрицательные. Так как среда обладает особенностью к репликации всего, что в ней находится, оправданы опасения многих родителей по поводу того, что не стоит растить детей в неблагополучном окружении, где отрицательные поведенческие стереотипы, в том числе и речевые, могут реплицироваться в их потомстве. Среда всегда настолько плоха, насколько плох самый худший её представитель, и, наоборот, настолько хороша, насколько же и хорош её самый лучший представитель. Для механизма репликации криминальные наклонности и привычка курить или же помощь близкому и заразительная улыбка не имеют никакого различия: эти ингредиенты среды будут переданы по каналам социальных связей (в частности посредством компьютерной сети Интернет) как равнозначные поведенческие паттерны, несмотря на их выраженный аксиологический антагонизм. В раннем возрасте повлиять на среду ребёнок не может – преимущественно среда воздействует на него, однако будучи взрослым, человек сам определяет состав своего «коктейля» сообразно ценностным установкам, степени развития, уровню образованности, совокупно обознача-

емым интеллектом (см. об этом также §3). Для того, чтобы ребёнок успел усвоить минимальный «прожиточный минимум» в калейдоскопически усложняющейся среде *homo*, эволюция изобрела механизм дифференцированного замедления развития – *неотению*. Способствуя появлению у приматов таких качеств, как инфантильность и приспособленчество, неотения, тем не менее, позволила нашим предкам, сменившим флору лесов на просторы саванны, выжить во враждебной и сложной новой среде. Д. Моррис выделяет такой аспект неотенической революции, как любопытство: «*Все молодые обезьяны любопытны, но по мере взросления их любознательность ослабевает. У нас же детское любопытство с годами лишь усиливается. Мы никогда не устаем исследовать. Полученные знания нас никогда не удовлетворяют. Каждый вопрос, на который мы находим ответ, приводит к возникновению очередного вопроса. Это стало для нас самым надежным способом выжить*» [Morris, 1999, p. 88]. Механизм замедления взросления у особей *homo* существует главным образом для того, чтобы естественным образом гарантировать «попадание» ингредиентов среды в мозг ребёнка, при этом качество репликаций всегда уступает необходимости адаптации с целью выживания в среде – эволюцией любые репликации признаются экзистенциально полезными, как уже отмечалось ранее. Следовательно, *непосредственное влияние среды можно рассматривать как естественный педагогический процесс, так сказать,* ***«приращения» нового индивида к социальной средовой органике***.

Несмотря на индивидуальные (и во многом вторичные) различия особей *homo* внутри человеческой среды, есть ингредиенты, которые разделяют все представители определённой среды без исключения. Именно так мы отличаем русских от немцев, французов от мексиканцев и т. д. К таким «стигматизирующим» ингредиентам, обозначенным классиком применительно к русским как «русский дух», относятся факторы, конституирующие ту или иную разновидность среды: реалии исторического, политического, экономического, гастрономического, лингвистического и пр. характера. Эти особенности со временем «сплавляются» в своеобразный (в том числе лингвистический) портрет среднестатистического представителя той или иной среды, погружённого в «коктейль» одних и тех же репликаций. Когда некоторые журналисты заявляют, что посвятили свою

жизнь «борьбе с клише и шаблонами», то под этими заявлениями следует понимать не иначе как противостояние непосредственному влиянию определённой среды. Для обозначения константного непосредственного экзосоматического влияния в русском языке подходит обиходное выражение «*вариться в собственном соку*», которым также зачастую характеризуют работу в узкопрофессиональных коллективах с медленно обновляющимся составом. Немцы сравнивают такое воздействие с «*сидением в тарелке*», а об умных (нем. *bewandert* – «поездивших»), т. е. побывавших в других средах, говорят: «*Er kann über den eigenen Tellerrand [hinaus]schauen*».

Лингвистические портреты обитателей отдельных сред выдаются порой весьма причудливые. Живя в Сибири без малого уже четверть века, я не перестаю удивляться тому, что сибиряки называют клубнику «*викторией*». Это всё равно, что называть весь картофель «*берлинкой*» или «*синеглазкой*», обозначениями отдельных его сортов: «*Как часто этим летом вы пололи синеглазку? Какая крупная берлинка у вас уродилась!*» Неважно, что это совершенно другой сорт картофеля, да и сам узус порождает коннотации, – аборигены «подхватывают» эти территориальные синекдохи (*pars pro toto* – стилистическая фигура замены целого частным, разновидность метонимии) как вирус, делая их основными обозначениями полюбившихся аграрных культур.

Итогом непосредственного влияния среды на ребёнка может стать его увлечение определёнными фразами-репликаторами, которые можно обозначить языковыми вирусами. «*Где ты подцепил это выражение?*», – вопрошают родители, бессильные перед средовым механизмом репликации. Они понимают, что в определённом возрасте дети «тащат» домой всё то, что «подобрали» на улице, в айфоне или в школе. Лингвистические новинки распространяются в коммуникативном пространстве сети Интернет с немыслимой скоростью: лишь сегодня кто-то написал в Фейсбуке эрратив-пародию «Денегнед!» с присущим фонографическим колоритом («Превед, медвед!»), как завтра её уже используют сотни и сотни тысяч. Внутри социальной среды контактов ребёнка вместе с новинками молниеносно реплицируются и осуждаемые обществом «сорные слова» («*типа*», «*ништяк*») вкупе с табуированной лексикой и обсценизмами (бранными словами). Понимая, что от подобных вирусов ребёнка уберечь невозмож-

но, многие родители и педагоги берут на себя смелость объяснять их значения «заражённым» детям, однако наиболее частотной «превентивной педагогической мерой» является всё же запрет на воспроизведение данных звукокомплексов в семейном кругу. Рестриктивные меры вряд ли можно считать успешными, особенно если в семье есть старшие дети, позволяющие себе излишества перед младшими с целью демонстрации собственного превосходства («взрослости»): «*А мне уже можно говорить такое!*».

Определённые вирусы могут иметь фамильную традицию и передаваться от старшего поколения младшему. При этом авторитет родителей или бабушки с дедушкой не позволяет ребёнку сомневаться в корректности и полезности таких репликаторов, делая их устойчивым элементом домашнего узуса. В моей практике был занимательный случай, когда знакомый педагог-словесник настойчиво боролся с «вирусной» формой «*д**ра**балызнутый*», регулярно повторяемой одной двенадцатилетней ученицей. Переучивание на словарную форму «*д**ер**балызнутый*» давалось школьнице исключительно тяжело в силу того обстоятельства, что и мама, и бабушка, уроженки Донецкой области, машинально употребляли репликатор, доставшийся им от прабабушки (*sic!*), так за всю свою жизнь и не удосужившись справиться в словаре. Усугубляла ситуацию функция «любимого эпитета», в которой использовался данный репликатор мамой и бабушкой ученицы: любого представителя мужского пола, начиная от брата девочки и заканчивая совершенно посторонним мужчиной на улице, озорницы автоматически снабжали привычным атрибутом «*драбалызнутый*».

Э.Г. Ризель трактует «любимые эпитеты» также с позиций экстралингвистики (см. об этом §8): «*Es sind Epitheta, die zu einer bestimmten Zeit, innerhalb eines bestimmten Kollektivs, von bestimmten sozialen Gruppen überaus häufig gebraucht werden*» (*Это эпитеты, которые чрезвычайно часто используются в определённое время, внутри коллектива, определёнными социальными группами*) [Riesel, 1959, S. 179]. Закономерно, что, диагностируя непродолжительное бытие «любимых эпитетов» в социальной среде или в идиоглоссарии отдельных пользователей, учёная сравнивает их с «*модной болезнью*» (*Modekrankheit*) [Riesel, 1959, S. 180], будто намекая на их «вирусное» происхождение.

Похожее можно наблюдать и в практике преподавания иностранных языков: любимые ошибки преподавателей подолгу и помногу реплицируются в речи учеников, даже когда последние сами становятся преподавателями. Примечательно здесь то, что зачастую такие эрративы представляют собой чрезвычайно удобные способы выражения, которым нормативные обозначения проигрывают как в компактности, так и в экспрессивности. Данное качество ставит эрративы в один ряд с такими явлениями, как псевдозаимствования, которые характеризуются в частности неизвестностью или непопулярностью у носителей языка-донора [Кобенко, 2016, с. 32]. Классическим образцом-репликатором, полученным изучающими немецких язык в лабораторных условиях среднеобразовательных школ, вузовских и интенсивных курсов и т. п., выступает эррати в «*irgendwarum*», который должен переводится как «*почему-то*» и с точки зрения немецкой грамматики безупречен. Однако продуктивный механизм композитной детерминации с «*irgend-*» почему-то не работает с вопросительным словом «*warum*»; немцы пользуются описательной предложной конструкцией «*aus irgendeinem Grund*», где «*irgend-*» находит более достойное применение.

Я всегда настороженно отношусь к так называемой диалектологии, потому что в ряде случаев исследователи «бабушек» выдают за диалектные особенности элементарные *эрративы-репликаторы*, доставшиеся носительницам, или, как часто шутят наши коллеги-лингвисты, *переносчицам*, от других коммуникантов внутри социальной сети контактов или по наследству (ср. метатезу в единице «*рег**или**озный*», более удобную для артикуляции) либо полученные методом ложной деривации, т. е. когда пользователь сознательно искажает звукокомплекс словарной единицы вплоть до смены мотивирующей основы[78] с целью создания сатирического эффекта («***полу**техник*» вместо «***поли**техник*», «*фил**олух***» вместо «*филолог*» и похожие дериваты: «*психолух*», «*социолух*» и т. п.), экспрессивности (*крыжопник, трахтер*), эвфемизации («*нафулюганить*» вместо «*нахулиганить*») или мотивирующей основы у заимствованных единиц (***дур**ектор*), а также подмены заимствованных основ другими («*дехканат*»[79] вместо «*деканат*») и т. д.

[78] См. об этом подробнее: Блинова О.И. Явление мотивации слов: лексикологический аспект: Учебное пособие. Томск, 1984. 191 с.

[79] «*Дехкане*» (перс. *dehqān*) – обозначение крестьян в Средней Азии.

Данное явление имеет в языкознании несколько обозначений: «*паронимическая аттракция*», «*ложная* или *народная этимология*», «*деэтимологизация*» [Ахманова, 1966]. Под ложной деривацией принято также понимать контекстное соотнесение дериватов из разных словообразовательных гнёзд: «*секретарша – та, кто знает какой-то секрет*»; «*люди на прогулке – прогульщики*» и т. п. Такие речевые продукты массово реплицируются в народной среде, зачастую полностью замещая словарные единицы. Деэтимологизация весьма популярна при создании псевдонимов («ников») в электронных социальных сетях, что связано с потребностью пользователей комментировать контент, оставаясь при этом анонимными, ср.: *Кот Матрёшкин*, *Роман Ужасов, Бардак Обмана*, *Angela Ferkel* (нем. *Ferkel* – «*поросёнок*») вместо *Merkel* в немецком сегменте сети Интернет. Родственным классом явлений выступают паремиологические эрративы, известные также как пародированные паремии, ср.: «*я русский бы выучил только за то, чтобы на нём допрашивать пленных*», «*большому кораблю – большая торпеда*»[80]. Эррativизация воспроизводимого (нереконструируемого) словарного фонда (см. о типах словарного фонда подробнее §9) наряду с образованием антипаремий («*один в поле не воин*» vs. «*и один в поле воин*») являются наиболее существенными факторами устаревания и вытеснения паремий как «квантов» народной мудрости из обихода, а благодаря деэтимологизации, которую К. Бюлер обозначает также как «*затемнение этимона*» (*Verdunkelung des Etymons*) вследствие языковой изоляции [Bühler, 1999, S. 122], наши потомки рискуют так и не узнать, что единица «*курносый*» произошла не от «*кура*», а от «*корнать*» <*коротко и небрежно стричь*> и должна была бы звучать как «*корносый*», если бы не «народное творчество» и механизм репликации. Таким образом, *народные эрративы логичнее рассматривать как явления исторического и социального порядка, а не типологического*. Они отражают особенности развития и функционирования системы определённого языка внутри отдельных средовых разновидностей, а не территориальную диалектику языковой материи с её якобы генетической обусловленностью.

[80] Я. Вольгемут систематизирует частотные немецкие паремии в количестве 147 единиц 1) по методу пародии и 2) семантическому оператору. В первой группе наиболее частотным методом выступает субституция (58,5 %), во второй группе – актуализация (26,5 %) содержания паремий, что прямо указывает на средовый детерминизм эрративов (http://www.linguist.de/beispiele.html).

Допросив всех живых «бабушек» (не следует забывать, что данное слово является у диалектологов термином, см. об этом также §1) в томской агломерации и издав массу литературы, включая пресловутые «словари одной личности», диалектологи Томского государственного университета по-прежнему рассматривают эрративы-репликаторы как диалектные продукты, порождённые территориальной дисперсией языковой материи[81]. Социо- (экстра-) и идиолектный (интралингвистический) аспекты (см. далее), несмотря на всю свою очевидность и выпуклость, либо не комментируются вовсе, либо попросту сбрасываются со счетов. В диалектологической практике довольно широко распространены случаи, когда идиоглоссарий одной отдельно взятой «бабушки» всерьёз обозначается диалектом.

Очевидно, что узус в отличие от языковой нормы выступает продуктом и одновременно следствием непосредственного влияния среды. Узуальные нормы распространяются по тем же каналам социальных связей, что и репликаторы и вирусы, в том числе ментальные, «поражая» языковых потребителей рекуррентными языковыми «инфекциями». Особого упоминания в данном контексте заслуживают те особи *homo*, чей прожиточный минимум языка состоит лишь из узуальных ингредиентов, случайно «залетевших» в их голову через рекламу, короткие электронные сообщения (*sms*), сеть Интернет и общение с себе подобными. По всем признакам такие языковые ингредиенты вирусного происхождения либо слабо отличимы от ментальных вирусов, т. е. используют говорящего как средство собственной репликации, так сказать, организм-донор (англ. *host*). Следовательно, можно с полной уверенностью утверждать, что *не данные особи используют ингредиенты среды, а ингредиенты среды используют данных особей*. Хрестоматийным примером здесь выступает персонаж сатирического романа И. Ильфа и Е. Петрова «*12 стульев*» (1928) Эллочка-людоедка (Щукина), обходившаяся словарным запасом в 30 слов, достаточных для безбедного существования социального паразита, в голове которого, в свою очередь, паразитируют ментальные вирусные репликаторы.

[81] Данное заблуждение передалось и на работы, посвящённые описанию языковых форм российских немцев, которые обозначаются вслед за диалектологами «немецкими диалектами». См. в этой связи: Кобенко Ю.В. Российские немцы в Томской области: критика современных лингвистических подходов и исследований // Этналогія: генезіс традыцыйнага. Мінск, 2015. С. 75–81.

Итак, непосредственное влияние среды делает говорящего, с одной стороны, не более чем переносчиком средовых репликаторов, с другой же стороны, обеспечивает его адаптацию в определённой средовой разновидности. Владея узуальными особенностями конкретной среды, говорящий получает заметно больше шансов на выживание путём поведенческой мимикрии, т. е. усвоения актуальных репликаторов, обладающих высокой частотностью обращения в среде. Так, во время поездки в г. Навои Бухарской области в 2007 г. мной было подмечено, что некоторые русские, продолжающие там жить после распада СССР, коверкают собственную речь, чтобы мимикрировать под «нерусских» и тем самым не выглядеть изгоями в условиях доминирования моногенных культурных стереотипов в постсоветском Узбекистане.

В рассуждениях о непосредственном влиянии среды невозможно обойти стороной так называемое «*языковое давление*» (англ. *language pressure*), которое известный американский социолингвист Д. Кристал недвусмысленно относит к средовым явлениям: «*[…] immense pressure on the people to speak the dominant language – pressure* ***that can come from political, social or economic sources***» (*огромное давление на людей, вынуждающее их говорить на доминирующем языке, – давление,* ***которое может быть политического, социального или экономического происхождения***) [Crystal, 2004, p. 15].

Языковое давление – лишь часть непосредственного влияния среды, фиксируемая в языковой плоскости, поэтому за давлением языка всегда следует искать давление определённых экзосоматических ингредиентов других сред или их текущих констелляций. Анализируя мотивирующие факторы языкового сдвига, Н.Б. Вахтин приходит к выводу, что наиболее частой его причиной выступает «*возникновение рядом более привлекательной модели жизни или кажущейся таковой*» [Вахтин, 2001, с. 16]. Престиж определённых языков связан, вопреки бытующим взглядам, не с количеством говорящих, а с долей участия данных языков в мировой коммуникации (см. об этом далее). В статье «*Foreign languages in Russian education and science*» (2015), написанной мною в соавторстве с аспирантом И.В. Шараповой, приводится формула расчёта престижа на примере современного английского языка [Sharapova, Kobenko, 2015, p. 24–29].

Б. Хайне отождествляет престижные языки с вертикалью (осью ординат): будучи атрибутом статуса, престижа и социального размежевания, язык вертикали (*vertical medium*) преподаётся в школе для достижения экономического благополучия (буквально: продвижения вверх) и воздействует на язык горизонтали (*horizontal medium*), функционирующий лишь как средство внутриэтнического общения в кругу семьи и друзей[82] (ось абсцисс) [Heine, 1992, p. 23–25]. Такой характер воздействия престижных языков на языковых пользователей и языковые коллективы принято обозначать языковым давлением. Последнее распространяется, как правило, на всех представителей среды независимо от их статуса, социального положения, уровня образования и пр.

Говоря о случаях массового увлечения пользователями импортными новинками в языке (языковых инвазиях[83]), долгом любого исследователя является поиск средового «закулисья» данного явления (см. об этом подробнее §10). Как правило, инвазия иностранных слов, среди которых подавляющее большинство имён существительных, говорит о том, что коктейль одной среды добавили в состав другой и теперь язык со своим традиционным механизмом номинации пытается судорожно поспеть за лавиной культурных инноваций с предикатом престижности. В мировом языкознании для таких языковых ситуаций используется термин «экзоглоссия» [Кобенко, 2014].

Резюмируя вышесказанное, следует подчеркнуть, что *непосредственное влияние среды функционально однородно (недифференцировано) и выступает своеобразным питательным раствором, будучи одинаково необходимым и полезным для всех её представителей*. Для более явственного отличия его от опосредованного влияния можно использовать категориальную оппозицию «*коллектив vs. индивид*»: непосредственное влияние распространяется на весь коллектив, опосредованное – лишь на отдельных её представителей или социальные группы. Итогом влияния первого типа в языковой плоскости будет образование *языкового коллектива*, а во втором случае – *языкового индивида* с его градуированной

[82] В немецком такой статус языка обозначается иронично «*Feierabenddialekt*» (*диалект для проведения досуга после рабочего дня*; ср.: http://www.vds-ev.de/presse/pressemitteilungen/pressemitteilungen-archiv/1043-deutsch-auf-dem-weg-zum-feierabenddialekt).

[83] Инвазия (позднелат. *invasio* – «вторжение») – разновидность волн заимствования, при которой количество средств языка-донора в речи говорящих на языке-реципиенте превосходит число автохтонных средств.

средовой специализацией в социальной стратификации (дифференциации). Безусловно, языковым индивидом стать гораздо сложнее, чем единицей языкового коллектива. Индивидуальностью в обществе, в принципе, пользуются только те особи, которые претендуют на создание уникальных средовых ингредиентов (мемов, художественных творений, произведений искусства, образцов науки и техники и т. п.). Индивидуальность всегда противопоставлялась обществу, которое – зачастую незаслуженно – лишь пользовалось её достижениями. При разложении единицы языкового коллектива не обнаружится ничего, кроме стандартных средовых репликаций («вирусных» *коллекций*), в то время как содержание языкового индивида всегда *селекционное*.

В своём развитии немногим удаётся пройти путь от единицы языкового коллектива до индивида. Последнее подразумевает продвижение в социальной иерархии от простого пользователя к созидателю индивидуально и социально значимых ингредиентов среды. Стремление к верхушке иерархии никоим образом не должна выступать признаком той самой мистической «личности», от которой серьёзному теоретику следовало бы отказаться. Скорее она показатель принадлежности индивидов к разным средам с неодинаковыми ценностными установками и, как следствие, различным отбором полезных средовых ингредиентов. В этом принципиально различаются пользователи языка: одним достаточно общего прожиточного минимума, незатруднительного для выживания, другие предпочитают иметь свой набор оперируемых средств и характерологических признаков речи. Таким образом, *индивидуальное выступает своего рода надстройкой коллективного, его индивидуально значимым продолжением внутри человеческой среды*.

Понимание языкового коллектива в данной монографии перекликается с неогумбольдтианской традицией противопоставления говорящих сообществ государствам как естественных образований искусственным: *в фокус внимания попадают естественные средовые механизмы репликации, средством реализации которых выступает человеческая речь и которые выходят не только за групповой, но нередко и за государственный формат*. (Отсюда и невозможность соотнесения границ коммуникативных сред с таковыми административно-территориальных образований [ср.: Виноградов и др., 2008]).

В этой связи несколько зауженными выглядят ранние трактовки данного понятия, например, у американского дескриптивиста Л. Блумфильда: «*Языковой коллектив – это группа людей, взаимодействующих посредством речи*» [Блумфильд, 1968]. Собственно, посредством русской речи могут взаимодействовать вьетнамец и финн, однако они представляют разные языковые коллективы. Последние, исходя из предшествующих рассуждений, совпадают с *ризомами взаимодействия особей внутри определённых (коммуникативных) сред и, следовательно, границами внутрисредовой репликации значимых ингредиентов*.

Наилучшим образом языковой коллектив понимается через языковые контакты: заимствованные новации всегда распространяются по каналам социальных связей, словно очерчивая их границы, в пределах которых и существует сам языковой коллектив. К сожалению, анализ языковых ситуаций не всегда даёт возможность увидеть границы языковых коллективов, так как проводится в большинстве случаев внутри определённых административно-территориальных формаций. Следовательно, он отталкивается от конкретных границ либо изучает процессы в заранее заданных координатах, например, в южно-сибирском ареале. *Ризомы социальных связей выступают, напротив, лакмусовой бумагой для индикации границ языковых коллективов, образующих собственные коммуникативные среды и ареалы репликации значимых ингредиентов*. Их пролиферацию на политической карте невозможно предсказать.

Решающим при выделении языковых коллективов является понимание вторичности речевого по отношению к средовому взаимодействию, что неоднократно подчёркивалось в данной работе ранее. Ведь, к примеру, в русскоязычный языковой коллектив входят и дети в критическом (превербальном) возрасте, и люди с нарушениями речи (дислексики, алексики, афазики, легастеники, больные синдромом Туретта и др.), и немые, и молчаливые нелюдимы, и т. д., однако никому и в голову не придёт отказать им в «русскости». В конце концов, и надпись на майке, которую носит немой, тоже может реплицироваться в коммуникативной среде, а значит, определение языкового коллектива вновь не совсем «языковое», как то мы могли видеть на примере термина «языковое давление», т. е. апостериорно по отношению к самой среде и её внутренним процессам (анизотропии), *quod erat demonstrandum*.

Упомянутое выше противопоставление элементов категориальной оппозиции «*коллектив vs. индивид*» С.Н. Кузнецов обнаруживает в социолингвистическом аспекте: «*Друг другу противостоят два основных принципа, составляющие идейную основу языковой политики: 1) примат* (*предпочтение, приоритет* – прим. Ю.К.) *коллективных и государственных интересов перед интересами личности и гражданина; 2) примат человеческой личности и гражданских прав перед интересами государства и языкового коллектива*» [Кузнецов, 2001, с. 308].

Оппозиционные приматы формируют две крайние модели языковой политики: *консервативную* и *прогрессивную*. Консервативная конкретизируется в концепции языкового национализма (типичные примеры: Франция, Украина), при котором состояние титульного языка, несомненно, лучше. Прогрессивная модель (ФРГ, Россия) выражается в языковой демократии и стремится облегчить пользование языком, снижая степень лояльности к титульному языку и либерализуя нормы.

Экспликацией первого примата можно считать *усиление элемента рекомендации* при кодификации норм с целью повышения степени приверженности пользователей к письменным нормам титульного языка. Модель языковой политики, основывающаяся на данном принципе, обязывает пользователей к более внимательному и осознанному обхождению с заимствованным языковым материалом, причём предпочтение, естественно, отдаётся автохтонным (собственным) средствам языка. Слагающийся в результате этого языковой национализм характеризуется моноцентризмом языкового регулирования (т. е. когда последнее сосредоточено в руках одного субъекта языковой политики) и, следовательно, большей обязательностью кодификационных предписаний. Экспликацией противоположного принципа, т. е. примата индивидуальных интересов перед коллективными или государственными, выступает *либерализация норм титульного языка*. Основным признаком данного принципа можно считать увлечение пользователей заимствованными единицами, в большей степени происходящими из определённого языка-донора, который является социально престижным (языком вертикали). Языковая демократия характеризуется полицентризмом языкового регулирования и, как следствие, высокой вариантностью норм титульного языка [Кобенко, 2014, с. 234–243].

При всей терминологической схожести, тем не менее, следует разграничивать оппозицию «*коллектив vs. индивид*», выделяемую в результате противопоставления типов средового влияния, и омонимичную, но получаемую вследствие выделения крайних точек языковой политики. В первом случае уместно говорить об индивидуальности как о продукте внутрисредовой селекции, причём зачастую в положительном её значении, а во втором – скорее как о таковом равного распределения гражданских прав и свобод, как правило, со всеми положительными и отрицательными последствиями либерализации общества.

Однако обе оппозиции имеют значимый для наших рассуждений общий лингвистический признак: и в том, и в другом случаях *индивидуальное порождает идиолект, а коллективное – социалект*. Это значит, в частности, что, если мы хотим, чтобы ребёнок просто заговорил, для этого будет достаточно погружения его в среду (непосредственного её влияния). Если же мы хотим сделать из него поэта или прозаика (придать его языку неповторимость), то к этому придётся приложить некоторые усилия, т. е. опосредованно воздействовать на ребёнка.

Переводя сказанное на язык честной и свободной от конъюнктурных примесей педагогической психологии, можно обобщить вышесказанное следующей цитатой из учебника психологии Б.М. Теплова для средней школы 1948 г.: «*Успешность выполнения человеком какой-либо деятельности* (*а речь – это деятельность, и слово – поступок* – прим. Ю.К.) *зависит не только от его способностей. Прежде всего и больше всего она зависит от наличия у него соответствующих знаний, умений, навыков, т.е. от того, какие выработаны у него системы временных* (*нейронных, нейро-ассоциативных* – прим. Ю.К.) *связей. Отсюда ясно значение обучения для пригодности человека к занятию тем или иным делом*» [Теплов, 1948, с. 108].

Итак, ***опосредованное воздействие среды создаёт систему нейронных связей, которую принято называть образованием***. К сожалению, современная инновационно-либеральная педагогика, стремительно перерождающаяся в «дистанционно-кнопочную» и превращающая учителя в нечто вспомогательное, вторичное, избыточное с соответствующими обозначениями «*тьютор*», «*коуч*», «*фасилитатор*», «*инструктор*» и т. п., давно не исповедует принцип системности,

предоставляя ответственную задачу формирования нейронных связей обучающихся непосредственному, т. е. хаотическому, бессистемному, воздействию на них среды обитания. Единственное различие (конечно же, непрофессионального характера[84]) между обучающимися в этом случае будет определяться так называемым «*побеговым принципом*» (нем. *Sprengelprinzip*), т. е. спецификой их домашней среды, в которую обучающие оказываются фактически заточенными. Побеговый принцип закрепляет процесс обучения за определённой территориальной локацией, превращая ту или иную средовую анизотропию для обучающегося, так сказать, в нечто неотвратимо-судьбоносное (роковое). Тем самым, фактуру будущего специалиста определяет не педагог и не педагогическая среда, а непосредственное влияние обыденных и беспорядочно реплицируемых ингредиентов домашних средовых разновидностей, которые во многих регионах России носят едва ли не криминальных характер и способствуют в лучшем случае банальному разгильдяйству.

В ситуации дистанционно-кнопочного обучения опосредованное воздействие, т. е. образование и воспитание, заменено так яро нахваливаемой либеральными «новаторами» учебной автономией, а в действительности – ничем. Следует подчеркнуть, что учебная автономия функционирует исключительно на основе уже сформированной системы нейронных связей и предполагает наличие сложившегося стиля (само)образования. Но называть «учебной автономией» ситуацию, в которой обучающиеся «варятся в собственном соку», механически реплицируя ограниченный набор средовых ингредиентов, могут лишь примитивные управленцы, оккупировавшие руководящие должности большинства современных российских образовательных учреждений. Такую ситуацию уместно обозначить «*автаркией*» (греч. αὐτάρκεια – «самодостаточность») со всеми присущими ей признаками идейной «затхлости» и неразвитости (см. далее). Из данных рассуждений должна пониматься роль педагога для образования, который выступает его гарантом, а не помехой либеральным преобразователем государственной (вузовской) собственности в частную (автономную).

[84] Профессиональное образование в постперестроечной России было незаметно вычищено из названий вузов, которые (названия) сначала были сокращены до безобразно-нелепых акронимов вроде «*ФГБОУ ВПО*», а впоследствии до «*ФГБОУ ВО*», т. е. просто «*высшего образования*». Куда делась профессиональная составляющая образования, отвечающая за формирование системы нейронных связей будущих специалистов, остаётся только догадываться.

Итогом либеральных «инноваций» в образовательных системах ряда бывших союзных республик стала беспрецедентная *языковая депривация* как симптом ослабления развивающего опосредованного влияния среды. Под языковой депривацией понимается снижение общего уровня владения любыми языками (*language* по Ф. де Соссюру), а с ним и исчезающий интерес к иностранным языкам и развитию вообще. В большинстве стран Средней Азии феномен депривации связан со снижением престижа русского языка, исключением его из учебных планов среднеобразовательных школ, урезанием его функциональной рамки до статуса регионального языка и даже откровенной борьбы с ним. Функционирование русского в качестве межрегионального языка-макропосредника во времена Советской империи опосредовало гражданам Союза ряд мировоззренческих и образовательных преимуществ, которые после «перестройки» стали интерпретироваться с позиций коммунистической идеологии и были «демократически» отреформированы в пользу международного английского языка. Результатом таких переустройств и стала культурная изоляция многих советских республик, сопровождающаяся депривацией, деградацией и в конечном итоге дегенерацией населения (ср. события на Украине). Однако многие наместники, пришедшие к власти после развала СССР, подают такие негативные тенденции по понятным причинам под соусом поиска национальной самоидентичности, что не выдерживает элементарной критики.

Русский язык не просто номинально развитее многих национальных языков на постсоветском пространстве, а является благодаря богатейшей литературной традиции и деятельности целой плеяды выдающихся деятелей науки, искусства, политики [Лопатин, Улуханов, 1997, с. 437–444] одним из наиболее развитых литературных языков современности (см. §8): он – пятый в мире по распространению[85], второй – по популярности в компьютерной сети Интернет[86], четвёртый среди языков, с которых чаще всего переводят[87]. Добровольное отречение от его богатства в бывших советских республиках сегодня приводит не к обретению мнимой национальной идентичности, а скорее к автаркии и обеднению (пауперизму) коммуникативных сред.

[85] http://mir24.tv/news/lifestyle/10233371.
[86] https://w3techs.com/blog/entry/russian_is_now_the_second_most_used_language_on_the_web.
[87] http://www.un.org/russian/news/story.asp?NewsID=17340#.WBXoHC2LSiM.

Среды различаются, в первую очередь, наборами действующих реплицируемых ингредиентов. *Чем сложнее устроена среда, тем притязательнее её языковая составляющая*. Данная зависимость является прямо пропорциональной. И хотя мои выводы могут трактоваться с социально-дарвинистских позиций, языки-макробионты[88] Европы отличаются от миноритарных и индигенных языковых форм, прежде всего, обширностью языкового материала. Это напрямую связано с особенностями истории, культуры, быта того или иного народа, количеством коммуникативных сфер внутри языковой ситуации и числом говорящих. К примеру, словарный фонд некоторых миноритарных западносибирских изолектов алтайской и енисейской языковых семей насчитывает не более 4 000 словарных единиц[89], в то время как немецкий и английский языки могут похвастаться почти полумиллионным словарным составом, т. е. практически в сто раз сложнее первых.

Безусловно, язык увеличивается сообразно размеру языкового коллектива (см. об этом и о сложности языка также §9), а также отношению пользователей к языковым новшествам. Способность того или иного языка к заимствованию сигнализирует о готовности среды к усложнению и развитию. В предыдущих работах я неоднократно подчёркивал связь заимствования и развития языка в контексте экзоглоссии [ср. Кобенко, 2014, 2016]. Перефразируя крылатую фразу А.Ф. Погосского, отмечу, что *плох тот язык, который не стремиться стать литературным, однако на пути к нему выживают лишь немногие*.

Внутри развитых сред особое место отводится *педагогическому воздействию* (опосредованному влиянию среды), ибо от него, в конечном счете, зависит репликация самой среды целиком. Именно поэтому *главной на земле является профессия учителя*, ведь *только педагогическое мастерство определяет успех передачи полезных признаков, свойств, качеств, способностей и т. д., т. е. ингредиентов среды, от поколения к поколению*. Разрушив эту связь (цепочку полезных репликаций, преемственность передачи знаний о среде), очень легко превратить любое общество в управляемое стадо, фактически лишив индивидов защитной и «питательной» функций населяемой ими среды.

---

[88] Макробионт (греч. μεγάλος – «огромный», βιοτικός – «живущий») – долгожитель.

[89] Ср.: Рюмина-Сыркашева Л.Т., Кучигашева Н.А. Телеут-орус сӧзлик. Кемерово, 1995. 120 с.; Вернер Г.К. Словарь кетско-русский и русско-кетский. СПб., 2002. 240 с.

Плохими «педагогами» выступают некоторые СМИ, утрамбовывающие в головы обывателей «заразные» и губительные клише. Следует подчеркнуть, что особенно подвержена такому воздействию молодёжь, максимально быстро и полно впитывающая любую распространяющуюся в среде информацию и стремящаяся жить в ногу со временем. *Чрезвычайно опасной информацией можно считать коммерческую рекламу*: корыстные бизнесмены заказывают её для получения прибылей, продажные рекламщики создают легко усвояемый и реплицируемый информационный «вирус» («*Не тормози! Сникерсни!*»), погружают его в среду при помощи СМИ, молодёжь успешно заражается им, и деньги рекой текут в карман бизнесмена. «Вирус» же продолжает оставаться в голове, отравляя разум потребителя и после акта / актов потребления. Рекламные приманки для распространения коммерческой информации рассчитаны исключительно на две вещи: восприимчивость молодёжи к средовым воздействиям и механизм репликации.

В XX–XXI вв. мир подвергся исключительной обработке СМИ, итогом которого стали цветные революции, разрушение института семьи (а значит, и государств), гибридные войны и т. д. Ключевая роль в данных процессах, бесспорно, принадлежит языку, репликативный потенциал которого используется против человека. Традиционное педагогическое воздействие, которое, кстати сказать, должно выступать приоритетом внутренней политики любого государства, было подменено дезинформацией, манипуляцией и эксплуатацией граждан для определённых политических, экономических и пр. целей. Весьма точно отражает зловещий характер подобных процессов коммерческий термин «*раскрутка*» (англ. *promotion*), сумевший стать одиозным даже в среде происхождения. *Манипуляциями можно считать любое использование средового механизма репликации против свободы и прав человека, в том числе против его коммуникативной свободы*. Будучи средством коммуникации, язык, конечно, может быть использован не обязательно на благо человека. Любопытно, что слова «*средство*» и «*среда*» однокоренные. Не потому ли язык является средством, что существует исключительно в среде и никогда вне её? Следует отдать должное патриотическому воспитанию молодёжи, опирающемуся на «скрепление» поведенческой (речевой) схемы подростков «скобами» культуры речи.

Так как мозг является великолепным дубликатором любой попавшей в него информации, репликацию следует признать мощным дидактическим подспорьем, позволяющим обучающимся подражать педагогу или более успешным однокашникам. В обучении иностранным языкам подражание в процессе механической отработки речевых и языковых навыков и умений нельзя заменить никакой инновационной (кнопочной) методикой, особенно когда речь идёт о преодолении «интерферирующего» влияния родного языка на изучаемый (о понятии «интерференция» в лингвистике см. подробнее §1).

Направленное педагогическое воздействие обозначается также *социокультурной дрессировкой* (англ. *drill*), служащей для машинальной репликации отдельных полезных ингредиентов среды с предикатом престижности. Несмотря на свою выраженную субъективность, действенным средством оказания направленного воздействия на языковых индивидов и даже коллективы выступает *престиж*. Престиж – это наша оценка кого-то или чего-то, основанная исключительно на впечатлениях (ср. лат. *praestigium* – «обман чувств, иллюзия»), какие бы доводы ни приводили поборники английского языкового империализма в пользу данного языка: мы знаем, что его средства заимствуются другими языками лишь по факту его престижности [Kreuzer, 2004]. В детском саду престижной может быть речь ребёнка, поделившегося с другими игрушкой, а в министерстве – речь чиновника с блестящими запонками. Примером престижности можно считать расход школьных акварельных красок в коробке: одни цвета уже закончились, потому что востребованы юным гением, а другие даже не тронуты, не замечены, не открыты.

Это справедливо и в отношении регистров языка: престижными признаются те языковые средства, которые расположены выше нейтрально-литературного стиля на оси X (см. рис. 1). Так как стиль связан с созданием программы оформления ценностно-ориентационной деятельности [Брандес, 1988, с. 5], ось Y можно представить как аксиологическую вертикаль, на которой направление вверх от оси X указывает на повышение литературного качества речи (престижности), а противоположное направление – на сниженное литературное качество речи и усиливающуюся экспрессивность стилистических средств (их непрестижность) [Riesel, 1959, с. 12–14].

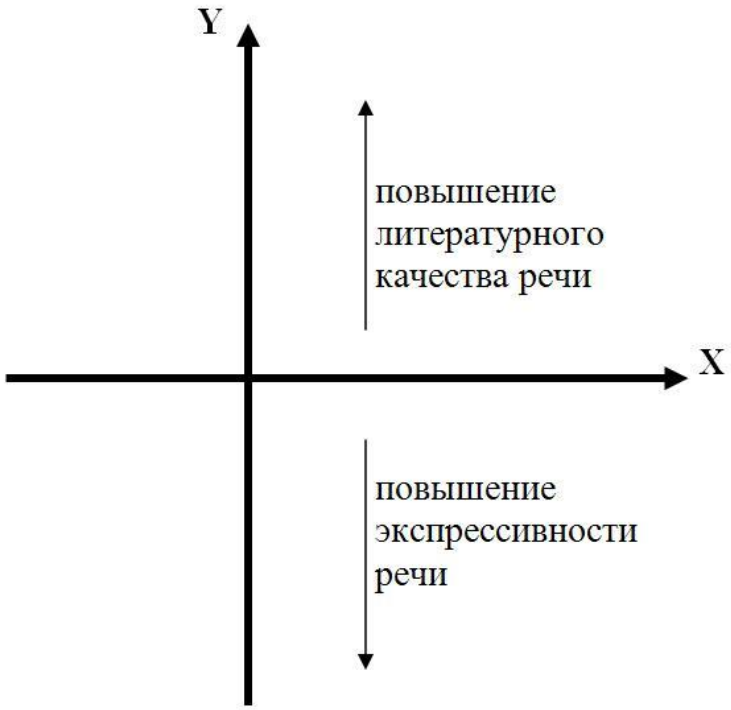

Рис. 1. Классификация стилистических разновидностей по Э.Г. Ризель (1959)

В продолжение рассуждений о типах влияния среды следует отметить, что непрестижные языковые средства более «вирулентны», т. е. реплицируются в среде свободнее, чем единицы, освоенные в результате опосредованного влияния. Главной же задачей педагогического воздействия выступает передача следующему поколению более престижных ингредиентов среды (средств языка), расположенных как можно выше на аксиологической вертикали. Это всё то, что снабжается в человеческом обществе атрибутом «высокий»: язык, мода, искусство, литература и т. п. Остальное нарекается «ширпотребом» и целенаправленной передаче не подлежит, поэтому или потому что реплицируется в среде автоматически (как интеллектуальный «сорняк»).

Однако не менее заразительной может быть речь мастеров слова, отлитая в массово тиражируемых цитатах – афоризмах и крылатых словах, которые могут прославить автора далеко за рамками автохтонной (родной для него) среды и стать ингредиентами общей среды обитания человека. Такими «вирусами» их делают гениальность автора и его виртуозное владение литературной речью.

Так как речь является продолжением поведения человека, типы средового влияния уместно соотнести с типами контроля поведения, описанными в §3: инстинктивно-гормональным (лимбическим) и рассудочным (неокортекальным). Называя язык инстинктом, С. Пинкер прав лишь наполовину, ибо упоминает только лимбическую сторону языковой природы как итог непосредственного средового воздействия [Пинкер, 2009]. Однако вряд ли весь язык можно атрибутировать инстинктивным. Разница очевидна: результатом непосредственного средового влияния выступает инстинктивное (рефлекторное) говорение, итогом опосредованного – рассудочное. Ярчайшими примерами рефлекторного говорения являются обиходно-вульгарные фразы, начинающиеся на «*сам / сама*» (ср.: *сам такой!*) и эксплицирующие поведенческую реакцию миметического (подражательного) свойства (нем. *Retourkutsche*). Речевая рефлекторика представляет стандартный набор (коллекцию) стереотипных реакций на внешние и внутренние раздражители и в этом поразительна схожа *с узуальными практиками-репликациями, не используемых человеком, а использующих человека*. Рассудочное говорение более притязательно и ценится, несомненно, выше рефлекторного в силу своей ситуативности, неподготовленности, индивидуальности, однако именно эти его качества могут стать причиной коммуникативных неудач в общении с «продуктами» непосредственного средового влияния. Непреодолимой границы между рефлекторным и рассудочным говорением нет: реакция профессора риторики может быть настолько же рефлекторной, насколько и рассудочной. Однако главными отличиями, тем не менее, следует признать их аксиологическую удалённость и слабые репликативные характеристики рассудочного говорения. Рефлекторика, напротив, даёт возможность эффективно блокировать входящий вирус при помощи миметических реактивных (защитных) реплик.

В современной российской блогосфере можно столкнуться с синтаксическими сращениями, маркирующими рефлекторную, клишированную, серийно реплицируемую речь, попадающую в голову обывателей непосредственно из среды: «*онижедети*», «*недлятебярозаросла*», «*еслихочешьчтобыдевушкабылаангеломсоздайдлянеёрай*». Таким способом автор помечает ограниченность их *hosts*, обличая неспособность последних порождать членораздельную рассудочную речь.

В среде язык реплицируется, как и другая знаковая информация, через два канала: *слуховой и зрительный*. Базовым выступает звуковой канал передачи языковой информации, поэтому живую речь зачастую называют звучащей. Система языка устанавливается в голову ребёнка при посредничестве акустической волны, порождаемой голосовыми связками говорящего (как правило, матери) и декодируемой зоной *Wernicke* (см. об этом подробнее §5) в мозге ребёнка. Об этом свидетельствуют различные позиционные несоответствия артикуляции детьми отдельных звуков фонетико-фонологическим нормам языка, ср. случаи произнесения звуков «*л*» вместо «*р*» и «*г*» вместо «*д*».

Иллюстративной можно считать ситуацию в художественном кинофильме испанского производства «Бункер» (2011), когда молодая женщина по неосторожности «отрезает» себя от среды, закрывшись в тайном бункере, построенном в военное время. Звуковая волна направленна внутрь бункера, но не из него, и уже одного этого достаточно, чтобы индивид находился вне гердеровской среды. В результате другая героиня вынуждена прибегать к альтернативным способам передачи информации (стуку по трубам в ответ на вопросы, усилению подачи горячей воды в ванну, рисованию букв в зеркальном отражении на запотевшем стекле и т. п.), чтобы коммуницировать в условиях элементарного отсутствия звуковой волны. Вдумайтесь: всего лишь один небольшой изъян делает всю многоэтажную архитектуру языка бессмысленной.

Изучение феномена автаркии, т. е. когда индивид или группа индивидов добровольно или вынужденно отрезает себя от среды, представляется весьма интересным и перспективным. Сегодня таких исследований практически нет, а в лингвистике их появление затруднено описанными в §1 проблемами. В случае так называемой «языковой автаркии» принято говорить об изоляции идиома от языкового континуума, однако это спорно, ибо термин «континуум» выражает принадлежность к определённой семье языков, т. е. генетический аспект, а в случае автаркии уместно говорить об изоляции индивидов от среды их прежнего обитания. Язык играет здесь ту второстепенную роль, которая отведена ему эволюцией, – быть «цементом» определённой среды. Поэтому автаркию неправильно рассматривать как языковой или культурологический феномен, а значит, изучать её должны этологи и социологи.

Для передачи языковой информации через зрительный канал языку необходимо такое свойство, как письменность (англ. *literacy*), которым могут похвастаться далеко не все современные языки (см. о литературном языке §8). Письменный канал появился значительно позднее звукового и собственно языковым не является, как и любая графическая система изображения знаков языка. Скорее он представляет собой способ визуализации информации в силу преимущественно визуального характера её получения человеком из окружающей среды.

Вторичность зрительного канала передачи языка обусловлена также тем, что большинство реплицируемых ингредиентов среды имеет звуковую традицию передачи. Вслед за Г.Л. Пермяковым ингредиентами можно считать всё, что имеет репликативную значимость, т. е. может дискретно передаваться одними особями *homo* другим: *от буквы до сказки* [Пермяков, 1970]. Преобладание здесь устных жанров бесспорно, а значит звуковой канал более «вирулентный», чем зрительный, принимая во внимание степень функциональной неграмотности современного *homo*, не способного правильно писать даже тексты *sms*-сообщений.

Функционально неграмотными считаются индивиды, понимающие литературную речь, но не владеющие ею устно и письменно на уровне, достаточном для решения простейших общественных задач, например, составления заявления о приёме на работу без грамматических ошибок. В 2011 г. в ФРГ количество функционально неграмотных (нем. *funktionale Analphabeten*) составляло 7,5 млн человек (14 % трудоспособного населения)[90]. Данные по России сегодня отсутствуют, что само по себе выглядит как недоброе предзнаменование. В.П. Чудинова констатирует в 1994 г., что «проблема функциональной неграмотности в ближайшем будущем (в котором мы уже имеем удовольствие жить – *прим. Ю.К.*) крайним образом обострится» [Чудинова, 1994, с. 98].

Современная функциональная неграмотность напрямую связана с механизмом репликации средовых ингредиентов, превращающим человека в среднестатистического переносчика вирулентных репликаторов. Понимая, что уровень клишированности речи по мере реплицирования языка в среде только возрастает, можно всерьёз опасаться за интеллектуальное развитие *homo* в будущем.

[90] http://www.zeit.de/gesellschaft/2011-02/bildung-analphabetismus-studie.

Дабы развеять все сомнения читателя в известности и апплика-тивности используемого мною аппарата в мировой практике, приведу в заключение цитаты из ряда известных работ зарубежных лингвистов и антропологов, вплотную подошедших к изучению средовой природы человеческого языка. Единицы их терминосистем выделены полужирным шрифтом.

У.С. Берроуз постулирует: «*The Word is literally a **virus** from **outer space**, and that it has not been recognized as such because it has achieved a state of relatively stable symbiosis with its **human host***» (*Слово в буквальном смысле – **вирус** из **окружающего пространства**, однако его сложно распознать, потому что оно достигло состояния симбиоза с его **человеческим носителем***) [Burroughs, 1993, p. 47].

Т.У. Дикон пишет: «*Modern humans need this language **parasite** in order to flourish and reproduce. Humans ensure that languages, like **viruses**, are successfully **replicated** and passed on from **host** to host. The earlier the age at which a language or virus is **acquired**, the more success it will have in **reproducing** from generation to generation. So language **infects** young children. Children learn language so much more naturally than adults, so that a 6-year old is already in possession of all the essential **ingredients** of a stupendously complex system*» (*Современным людям нужен этот язык-**паразит** для процветания и размножения. Люди выступают залогом того, что языки подобно **вирусам** успешно **реплицируются** и переходят от **носителя** к носителю. Чем раньше человек **приобретёт** язык или вирус, тем успешнее тот будет **передаваться** из поколения в поколение. Так, язык **поражает** детей. Они овладевают им более естественным образом, чем взрослые, поэтому шестилетний ребёнок уже владеет всеми необходимыми **ингредиентами** этой невероятно сложной системы*) [Deacon, 1998, p. 113].

Ж.-Л. Дессаль доказывает в своей работе «*Why we talk*» (2007), что «*language activity is a **response** to a genuine urge, so the need to communicate appears to be a **reflex**; language is a **natural behavior** provided for by our **biological constitution***» (*речевая деятельность является **ответом** на естественную необходимость, поэтому потребность в говорении – это **рефлекс**; язык есть **естественное поведение**, обусловленное нашей **биологической конституцией***) [Dessalles, 2007, p. 74].

Однако больше всего поражает не биологическая метафора приведённых цитат, а её предельная непопулярность в кругах отечественных лингвистов. Отставание от тенденций мировой науки о языке – вот плата, которую должна платить отечественная лингвистика за концепты, фреймы, дискурсы и компетенции.

Итак, возвращаясь к поставленному в заголовке параграфа вопроса, можно подытожить:

1) язык и вирус имеют схожую природу: они происходят из окружающей среды, живут в переносчике и изменяют его поведение;

2) репликация – это способ их распространения: язык и вирус распространяются в среде одинаковым способом – через каналы (ризомы) социальных связей переносчиков;

3) на соматическом (биологическом) уровне информация передаётся путём репродукции, а на экзосоматическом (внегеномном) уровне – посредством репликации;

4) язык – это привычка говорить; попробовав помолчать пару дней, можно увидеть, как непривычно даётся артикуляция звуков; таким образом, речь – это постоянная «заражённость инфекцией» среды;

5) язык – особенность поведения *homo* в человеческой среде; эта особенность автоматически переносится и на домашних животных, с которыми человек говорит как с субъектами своего окружения; это не значит, что животные начинают говорить по-человечески (обычно они лишь подражают), однако они адаптируются к звучащей речи человека и частично либо полностью изменяют и своё поведение тоже;

6) средовый вирус (репликатор) – это всегда что-то новое, непривычное и интересное; репликаторы поражают целые ризомы социальных контактов подобно инфекциям, пока не входят в узус («*боюсь спросить*», «*то неловкое чувство, когда…*»); новинки всегда становится объектом ускоренной репликации, ибо дурной пример заразителен;

7) репликация стандартных ингредиентов среды создаёт ограничение, известное как мировоззренческая узость; в голову индивида попадают различные средовые ингредиенты; способность же к отбору полезных можно сравнить с переработкой золотой руды: из тонны конгломерата получаются максимум 50 граммов чистого золота; такое же наполнение имеет и человеческая речь как сугубо средовый продукт.

§5. ТИПИЧНЫЕ ЗАБЛУЖДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ

Поиски ответов на загадки устройства и функционирования языка объясняются главным образом недооценкой либо незнанием следующей фактологии.

1. Язык не является частью человека в буквальном понимании как, к примеру, голова.

2. Язык не может быть достоянием каждого человека или только человека.

3. Язык есть во многом продукт коллективного бессознательного.

4. Язык невозможно «выучить».

5. Носители языка «носят» в себе не «механизм порождения речи», а отпечаток среды.

6. Язык – отражение и выражение не когнитивных процессов.

1. *Язык не «существует» в голове носителя или совокупности голов языкового коллектива*, а является *особым средством*, используемым языковым коллективом в целом и носителем в частности в рамках некой исторической традиции преимущественно для двух целей: во-первых, для осуществления социального взаимодействия с другими представителями среды и, во-вторых, номинации явлений, объектов и процессов (см. об этом также §7). Существование языка вне головы и вне самого человека доказывается на примерах многочисленных случаев *homo ferus* (мауглеоидов), наглядно демонстрирующих, что практика исключения человека из социальной среды в превербальном периоде оборачивается для него полным незнанием и непониманием самых базовых основ грамматики и приводит к неспособности коммуницировать с представителями своего вида. Примечательно, что и геном человека не записывает никакой информации о языке. Ген *foxp2*, кодирующий белок на седьмой хромосоме и ошибочно считавшийся учёными ответственным за процесс усвоения языка, контролирует среди прочих функций только движения губ, отвечая тем самым лишь за физическую составляющую речи [Enard et al., 2002, с. 870], вопреки мнению Р. Докинза, полагающего, что «причиной появления речи у *homo ergaster* могла послужить мутация данного гена, кодирующего цепь длиной 715 аминокислот» [Докинз, 2015, с. 89–90]. Т. е., с точки зрения эволюции, язык – «разовое» явление, ко-

торое осваивается всякий раз заново, но, очевидно, для самой эволюции вида *homo* не является сколько-нибудь значимым. К тому же у современного человека абсолютно отсутствуют специальные органы, имеющие исключительно лингвистическую спецификацию: ни язык (*lingua*), ни губы (*labia*), ни малый язычок (*uvula*), ни другие органы ротовой и гортанной полостей, участвующие в артикуляции, не предназначены первоначально для речевой «симфонии» (учитывая к тому же всю «скудность звуковой палитры языка *homo*, т. е. приблизительно 90 звуков во всех языках, в сравнении с многообразием звуков окружающего мира» [Невзоров, 2012, с. 210]), а отвечают за вполне простые физиологические функции, как и у представителей других видов. Само говорение, осуществляемое в подавляющем большинстве случаев на выдохе (лишь в определённых нерегулярных практиках отдельных народностей наблюдается редкое инспираторное говорение, обусловленное, как правило, эмоционально и ситуативно), представляет колоссальную нагрузку на дыхательную систему, что вновь обнаруживает некую «конфликтность» физиологической природы человека с необходимостью говорения. Наличие в мозгу человека зон *Broca* (левая лобная извилина) и *Wernicke* (задняя треть верхней височной извилины), существующих латерально (симметрично) в качестве панданов нейрофизиологического автоматизма «генерация vs. понимания речи», является ничем иным, как «продолжением» древнейших структур головного мозга млекопитающих, имеющих возраст, согласно данным Д. Феррье, около 15–30 миллионов лет [Ferrier, 1986, p. 257]. Небезызвестно, что данные зоны присутствуют, в том числе, у обезьян и собак, хотя и имеют у последних несколько другую видовую спецификацию. Приведённые факты недвусмысленно свидетельствуют о том, что механизмы речи, равно как и мышления («внутренней речи»), «запускаются» у представителей *homo* извне, т. е. из среды, и не могут рассматриваться вне контекста социализации, причём сама гердеровская среда выступает своего рода катализатором тех процессов грамматикализации и коммуникации, которые лингвисты и антропологи привыкли считать исключительно достоянием человека. Как указывает А.Г. Невзоров, «в своей обычной среде обитания, в этом «дополнительном мире», вновь рождённый младенец требует многолетних усилий для обучения самым элементарным

знаниям и умениям (в том числе речевым – *прим. Ю.К.*), что, по сути, является обучением пользованию коллективным интеллектом» [Невзоров, 2012, с. 198]. Коллективный интеллект – кумулятивный продукт социальной и во многом бессознательной деятельности человека, это определённый градиент адаптации к среде обитания *homo*, следствие безраздельного властвования искусственного отбора как некоего внутривидового общественного договора, основанного «на предпочтении в особях человеческого вида поведенческого биологическому с целью наследуемости полезных внутрипопуляционных признаков» [Савельев, 2014, с. 79]. Коллективно и во многом бессознательно созданная и поддерживаемая среда обитания *homo* включает, помимо прочего, традицию овладения номинационной системой знаков – языком, являющимся её особым атрибутом и ингредиентом и выступающим средством овладения индивидуально значимым «прожиточным минимумом» знаний о мире, а также – в случае лингвистов и филологов – специальным ремеслом, имеющим ценность только внутри человеческой среды.

2. *Язык не является достоянием каждого человека и только человека*. Проверить данный факт можно, оценив, насколько отдельный человек за всю сознательную жизнь, в течение которой он пользуется языком, значим для созидания его богатства (в особенности литературного языка). Безусловно, оставляют след в нём отнюдь немногие, но и даже в случае весьма ярких образцов красноречия, достойных увековечивания в лексическом составе, нет никакой гарантии, что последующие поколения не предпочтут образному тропу, порождённому гениальным лингвистом или писателем, скудный, но компактный арготизм. Конечно, с возрастом среды язык усложняется, а популяция увеличивается, и на ранних этапах степень участия отдельного пользователя была значительно выше. Однако на примере исчезающих языков мы можем наблюдать, как единственные оставшиеся в живых говорящие ничего не могут поделать с вымиранием языковой формы, как бы сильно они её ни культивировали и ревитализировали. Речь идёт о тех случаях языковой смерти, когда язык умирает с последним говорящим, т. е. физической смерти языка (в противопоставление процессам смерти языка при живущих и здравствующих пользователях, но по разным причинам отказывающихся говорить на определённом языке). Следовательно, со-

вершенно неправомерно говорить о языке как о достоянии каждого, пользующегося им. Термин «пользование» предельно точно передаёт характер отношений между говорящим и самим языком. Так как бытность человека в определённой среде всегда ограничена временными рамками, наше участие в жизни среды целесообразно было бы обозначить именно данным термином (см. также далее пункт 5). Пользование языком в мире информационных технологий можно сравнить с использованием смартфона, область приёма которого имеет протяжённость зоны покрытия (коммуникативную мощность идиома), индивидуальный набор контактов (социолект), собственный профиль (идиоглоссарий), сигнал (звучание) и форму (морфологический строй). Но при отсутствии среды, т. е. зоны покрытия, надобность в пользовании телефоном отпадает. Итак, *язык является достоянием не человека, а среды, в которой он распространён*.

Помимо этого, неверно рассматривать язык как продукт человека для человека. Во-первых, мы не знаем, какое будущее ждёт человеческий язык (как порождение искусственного отбора без учёта территориальной, стилистической и пр. расслоённости как диалектической дисперсии языка). Ведь уже сегодня компьютеры переводят, создают словари и тезаурусы, распознают и генерируют иноязычную речь куда успешней подавляющего большинства говорящих. Однако никому из ныне живущих и в голову не может прийти считать человеческий язык целевым продуктом для компьютера. Во-вторых, любое достижение эволюции, пусть даже с узкоспециальным функциональным набором, имеет такой запас реактивной мощности, который позволяет изменять его сообразно постоянно трансформирующимся условиям среды. Именно поэтому порождение человеческого языка было единовременным, а освоение его является многократным событием (для каждого члена среды и для каждого языка в отдельности, а уж кто является членом данной среды, определяет единственно искусственный отбор), причём в каждой отдельной голове храниться собственная идиолектная копия языка той или иной среды. Сложность изучения языков, – как родных, так и иностранных, – доказывает, что язык отнюдь не создавался с учётом оглупения последующих поколений и с заботой об исправно функционирующем идиоме в социальном пространстве: здесь язык можно сравнить с

доставшимся от прадеда старомодным камзолом, который каждое новое поколение будет перекраивать по своему усмотрению, обменяет его на более престижный наряд или выкинет совсем. Только отличие языка состоит в том, что с ним это происходит неосознанно: языковые изменения любого уровня (от грамматических до лингвополитических) лучше всего распознаются в лингвистической ретроспективе, когда уже трансформация завершена и явление А превратилось в явление В. В-третьих, достоверно известно, что карликовые шимпанзе бонобо (на примере самца Канзи, задействованного в ряде лингвистических экспериментов [Зорина, Смирнова, 2006]) в состоянии понимать человеческую речь и общаться с людьми при помощи лексиграмм. Понимание собаками команд (нем.: *fass!, halt!*; рус.: *лапу!, фу!*) тоже компенсирует слаборазвитый неокортекс. Лошади умеют складывать латинские буквы в слова в результате обучению чтению. Попугаи жако, знаменитые своей чрезвычайной способностью имитации человеческой речи, значительно превосходят в данном качестве самих *homo* в превербальном периоде, хотя сами *homo* не считают попугаев членами собственной среды обитания. Это значит, что мы не вправе отказывать эволюционному эксперименту по обучению данных видов человеческой речи на протяжении более 2,5 миллионов лет искусственного отбора [Зубов, 2010, с. 3] в успешности, только лишь по причине того, что он не имеет исторических прецедентов. Вполне возможно, что при равных условиях бонобо достигли бы бóльших высот в освоении языка Шекспира, чем выходцы из социально благополучных семей юга Европы. То, чего не достаёт бонобо, – не некий морфологический субстрат мозга, отвечающий за язык, который, следует отметить, также отсутствует и у самого человека, а устойчивая, искусственно созданная среда на протяжении необходимого для значительных изменений в социальном поведении периода времени, где бонобо могли бы быть подобно человеку взращивающими и взращиваемыми одновременно. Но могли бы мы после этого считать язык достоянием бонобо или нового вида, в который бы они трансформировались? Правильный ответ: не бонобо, а эволюции.

Можно возразить, что человеческий язык создавался архантропами для себе подобных, что, в общем, не будет лишено здравого смысла. Однако произошедшие с тех пор разительные внутривидовые измене-

ния вряд ли бы обрадовали самих архантропов, увидь они, кто пользуется их «копирайтом» и как звучит сам современный язык. Могли ли архантропы в раннем палеолите знать, кто унаследует их творение и что сам язык будет на миллионы лет далёк от той формы, которую они изобрели? Проясняет картину то обстоятельство, что одной из причин развития речи могло быть желание самцов гоминид соблазнить самку с целью обзаведения потомством [Савельев, 2012]. Вряд ли и сегодня можно игнорировать данную прагматическую функцию существования языка, несмотря на значительные достижения в литературном творчестве и навязчивое выделение рядом лингвистов эстетической функции языка. Однако данные практики ставят речь архантропов в разряд с позывными, используемыми в животном мире самцами разных видов в период спаривания. Безусловно, помещать такие речевые «рудименты» в скопическую рамку «язык для человека» (греч. σκόπος – «*цель, задача*», собственно: «*соглядатай*») не совсем корректно, принимая во внимание то, какой «человек» стоял у истоков лингвогенеза.

Заслуживает внимание и познание того, что речь – и первобытных, и современных особей *homo* – «попадает» в голову ребёнка в сильно фрагментированном виде в условиях полного отсутствия словарей и грамматик (системы языка) и требует изрядного количества времени для порождения первых высказываний, т. е. формирования пригодных к базовой коммуникации системных взаимосвязей в сознании младенца, даже при активно функционирующем во внешней среде изучаемом идиоме. Передача знаний о мире через язык связана, прежде всего, с необходимостью обучения потомства, но создавали ли язык древние люди пригодным для усвоения самыми маленькими, понимали ли важность взаимосвязи обучения языку и владения им? Напрашивается вывод, что *ни о какой цели передачи неразвитой системы последующим поколениям* и речи быть не могло, ведь сам язык не представлял собой никакой «духовной» ценности и осваивался ребёнком добавочно как некий ритуализированный атрибут быта, к примеру, молитва, пение или пожимание руки гостю, по принципу «все говорят, и я говорю». Феномен мауглеоидов наглядно демонстрирует, что вне среды *homo* великолепно обходится и без человеческого языка, *который никак не влияет на стратегию выживания нашего вида вне среды*. И, наоборот, те вы-

сокоразвитые формы языка, которыми сегодня могут похвастаться лингвистическая география и глоттохронология, для большинства архантропов были бы смертельны в прямом значении слова: они вынуждены были бы потратить всю свою жизнь, т. е. те 25–30 лет максимальной её продолжительности, на одно только освоение литературного языка, отчего в результате умерли бы от голода или стали бы добычей звероящеров. Эволюция в то время не могла позволить себе иметь такое затратное по времени средство взаимодействия, поэтому языку первобытной среды не суждено было развиться далее простейшей акустической системы позывных-реакций. Именно поэтому *основой лингвогенеза можно считать лишь среду, по мере усложнения которой совершенствовался и язык, подчиняемый человеческим коллективом решению всё новых и новых задач, и сам человек*.

Итак, всё, что сегодня представляется более-менее верифицируемым, можно компримировать до тезиса «*язык был изобретён и опробован архантропом*», причём под последним следует понимать не иначе как коллективного (подражательного) субъекта, а не отдельных особенно одарённых особей, так как для говорящего, или производящего речь, всегда должен быть слушающий (реципиент) и реагирующий. Таким образом, лингвогенез можно считать *всецело искусственным событием*. Язык, бесспорно, создавался для решения определённых задач (первоначально анималистических, а уже потом номинативных и коммуникативных), однако утверждение, что его производство в точке диахронии 0 подчинено цели в точке диахронии X, неопределённо удалённой от точки 0, представляется даже чисто стохастически ложным. Сложно также согласиться с доводом, что палеоантропы создавали речь, отягощая собственные дыхательные процессы и рискуя подавиться пищей, для гипотетического говорящего субъекта в неизвестном отрезке мировой истории. Данный вывод потребуется для понимания последующего факта *ризоморфности (ризоматичности) развития языка*.

3. *Язык является во многом продуктом коллективного бессознательного*, т. е. «феноменом третьего вида», под которым Р. Келлер понимает продукт лингвогенеза, являющийся ни естественным, ни искусственным образованием, а развивающимся по принципу «невидимой руки», т. е. фактически «как получилось» [Келлер, 1997, с. 271]. В каче-

стве примера можно привести закрытую деривационную группу имён существительных среднего и женского родов в немецком языке, образованных при помощи непродуктивного суффикса -nis: ни симптоматическое (частотное), ни количественное, ни семантическое сопоставление данных существительных с учётом использования их в различных диатопах (ФРГ, Австрия, Швейцария) не позволяет выявить какую бы то ни было зависимость деривации от особенностей грамматического рода, ср.: ***das*** *Bekenntnis*, но: ***die*** *Kenntnis*, ***die*** *Erkenntnis* и т. д.

Единственное разумное объяснение данному явлению видится в отсутствии в диахронии единого центра инноваций и унифицированных способов их распространения в коммуникативных средах, или, как пишет Н.Н. Семенюк, в «неравномерности процессов нормирования, характерных для истории немецкого языка» [Семенюк, 1996, с. 40–44], что подтверждается остаточным колебанием категории рода у отдельных имён существительных данной группы, например: ***die*** **/** ***das*** *Beschwernis*, ***die*** **/** ***das*** *Versäumnis*. Усугубляет ситуацию последующая семантическая дифференциация данных вариантов по родовому признаку как следствие действия прототипических аналогий, ср.: ***die*** *Erkenntnis* (***die*** *Einsicht*) vs. ***das*** *Erkenntnis* (***das*** *Gerichtsurteil*)[91]. Последние можно считать единственно заслуживающим внимания объяснением, абстрагируясь до контактологического ракурса: распространение латинского суффикса женского рода -is (*die Kris**is**, die Prax**is***) могло стать причиной наивного совмещение родового признака у латинских заимствований и автохтонных слов с суффиксом -nis, однако доказать это лабораторно сегодня весьма затруднительно. Следовательно, человеческий язык нельзя запрограммировать, уложив в некую канву исторического развития, управляемого человеком. Если вектор развития и существует, – к примеру, бодуэновский [Мельников, 2003, с. 316], – то его установление возможно лишь в ретроспективе и исключительно в сопоставлении с предыдущими формациями, т. е. в типологическом ключе. Именно благодаря данному обстоятельству любые меры по языковому планированию заведомо обречены, особенно если они предусмотрены для обширных коммуникативных сред с несколькими идиомами в качестве компонентов языковой ситуации.

[91] http://www.duden.de/sprachwissen/sprachratgeber/substantive-auf-nis.

Постулаты Р. Келлера перекликаются с положениями теории ризомы Ж. Делёза и Ф. Гваттари, согласно которой развитие семиотических систем осуществляется по принципу «корневища» (фр. *rhizome*) и характеризуется нелинейностью, ацентризмом и асимметрией [Deleuze, Guattari, 1977, S. 58]. Принцип такого развития применительно к языку можно сжато сформулировать как *отсутствие цели, вектора и центра языкового развития*. Ризому развития языка рисует стихия среды, что наиболее явственно прослеживается в таком социолингвистическом феномене, как коммуникативный сдвиг [см. об этом: Вахтин, 2001, с. 11–16]. К примеру, появление в социуме привлекательной модели жизни по инокультурному образцу может привести к неконтролируемому (инвазивному) заимствованию иностранных слов, при этом пользователи в большинстве случаев не будут отдавать себе отчёт в том, чем языковые новации отличаются от привычных обозначений, ср. в современном немецком языке автоматизм *die Fahrkarte* (автохтонное обозначение) = *das Ticket* (англоязычное заимствование). Таким образом, язык с его формами, многообразными и разветвлёнными структурами и вариантами представляется *продуктом коллективной и неосознанной* (в юнговской традиции – *бессознательной*) *деятельности человека внутри различных сред*, что исчерпывающе объясняет существование в языках бесконечного количества лексико-грамматических исключений, взаимоисключающих или избыточных грамматических категорий, типологических различий и т. п.

4. *Язык невозможно выучить*. Сочетание «выучить язык» является целиком обывательским. Лингвисты его практически не используют в своей среде по следующей причине. Всё, что удаётся сделать человеку в жизни, это освоить индивидуально значимый «прожиточный минимум» языка, распространённого в той или иной среде. Для филологов существуют свои стандарты, для рядовых пользователей (например, учащихся или гастарбайтеров) – свои. Саму форму или страту в сознании говорящего (в особенности при владении несколькими языками) в диахронической перспективе целесообразно обозначить как *историолект*, т. е. некий стандарт выражения, принятый на определённой стадии существования L_x в конкретной точке диахронии; в социальной перспективе – *социолект*; в территориальной – *диалект*; в рамках дихо-

томии «говорящий коллектив vs. индивид» – *идиолект*. Выучить такой язык, как немецкий, насчитывающий около полумиллиона слов вместе с ксенолексикой [Best, 2000, S. 39][92], в течение жизни рядовому пользователю представляется невозможным. Даже выдающиеся германисты едва ли владеют запасом, превосходящим 1/5 данного фонда[93].

Изменения в изучаемом иностранном языке сложно предугадать. Их можно лишь отследить, находясь в среде его распространения – так называемом «базовом континууме». Как известно, наиболее подвижным для эволюции элементом языкового знака выступает содержание. Специалисты подтвердят: сколько бы Вы не учили иностранный язык, Вам никогда не угадать, какой лексической единице в определённом контексте будет отдано предпочтение в базовом континууме (или в одной из сред у таких ацентричных идиомов, как, к примеру, английский) и какой элемент конкретного синонимического ряда будет объявлен наиболее адекватным контексту, ср. использование немецкого глагола «*argwöhnen*» (*подозревать*) со стилистической пометой «*gehoben*» (*высокий*) из ряда синонимов с нейтральным стилистическим номиналом «*befürchten*», «*verdächtigen*», «*vermuten*», «*mutmaßen*» в следующем контексте в рамках немецкой функционально-стилистической разновидности «язык прессы и публицистики», характеризующейся традиционной приуроченностью к нейтральному пласту лексики: «*Die Polizei* ***argwöhnt****, dass „im Hintergrund Politik gemacht werde“, und stellt fest: „Aber bitte nicht auf unserem Rücken*“[94].

Безусловно, находящиеся в среде распространения говорящие владеют языком на более высоком уровне и оказываются тем самым в более выгодном положении, нежели изучающие его за пределами базового континуума, (что обеспечивает первым статус редакторов и корректоров за рубежом), однако зачастую и они не в состоянии воздействовать на узус, порождаемый коллективным бессознательным, ср. бессилие говорящих на L_1 перед «*звОнишь*» и «*что касаемо*» в русском языке или перед «*bräuchte*» и «*des Autoren*» в немецком языке.

[92] Данные К-Г. Бэста касаются продуктивной (базовой, нем. *Grundwortschatz*) части словарного фонда немецкого литературного языка. Существует также практика выделения рецептивного фонда (нем. *Allgemeinwortschatz*), который оценивают в 5,3 млн слов [Klein, 2013, S. 28].

[93] Ранее уже отмечалось, что словарный запас И.В. фон Гёте составляет 90 000 слов.

[94] http://www.deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2016/01/07/polizei-berichte-aus-koeln-es-war-viel-schlimmer-als-bisher-bekannt/.

Почему пользователи в базовом континууме не забывают язык? Потому что они ежедневно напоминают друг другу о значимых для них словах, которые, так сказать, у них «на слуху», т. е. постоянно используются в процессе коммуникации. Если это можно повторить в других средах, например, в «дочернем континууме», то язык не забудется и там. К примеру, немецкий язык в АССРПН имел такую коммуникативную мощность, что «*Deutscher Staatsverlag*» в г. Энгельс массово издавал труды на немецком языке, в том числе переводы русских классиков (ср. «*Der Gefangene im Kaukasus*» А.С. Пушкина в переводе А. Ашарина 1938 г.). И наоборот: те единицы, которые у говорящих не «на слуху», забываются так же быстро, как и в любом другом континууме. Т. е., говоря о среде, мы говорим, прежде всего, об *уникальных условиях существования языка* в рамках некоего коллективного договора пользования им. Локальные среды вырабатывают собственные правила и нормы, характерные для локально говорящего коллектива, с учётом географических, социальных, исторических, политических и пр. условий его существования, развития и деятельности.

Итак, узус создаёт среда, конкретнее – коллективное бессознательное. Литературные нормы – случай двойной искусственной селекции – бессознательной и позднее осмысленной, так как их выбирают из имеющегося многообразия способов и средств выражения (признак «обработанности и селективности литературного языка» [Филичева, 1992, с. 18]) и в редких случаях создают новые усилиями выдающихся филологов, ср. введение буквы «ё» Н.М. Карамзиным.

5. *Носители языка «носят» в себе не «механизм порождения речи», а грамматически упорядоченный отпечаток среды*. Даже если язык является выученным, отпечаток будет мозаично представлять элементы среды или сред, в которой / которых распространены те или иные языковые средства. Человек, сменивший в 20 лет коммуникативную среду, к примеру, русско- на англоязычную, остаётся на уровне владения русским языком в момент оставления среды, в то время как другие двадцатилетние, оставшиеся в прежней среде, продолжают совершенствовать своё владение. Количественное совершенствование будет фактически предполагать регистрацию изменений языковых норм и их последующее использование при речепорождении. Под качественным со-

вершенствованием следует понимать освоение по мере личностного роста новых лексико-семантических полей, профессиональных тезаурусов, функционально-стилистических разновидностей (языка науки), что уже едва ли доступно сменившему среду. Закономерен вопрос: можно ли считать такого человека «носителем»? И если да, то в какой степени? Логичнее было бы считать человека пользователем языка до определённого момента времени, ведь отрыв от коммуникативного континуума сказывается не только на знаниях языка, но и на знаниях культуры, социальных, политических и других особенностей среды. Отпечаток среды в сознании человека состоит не только и не столько из языковой информации, сколько из накопленного опыта (языкового, культурного, социального, технического и пр.), однако данный опыт никоим образом не сегментирован с сознании человека на языковую и другие составляющие. Напротив, он образует полидименсиональные энграммы, полученные в результате сенсорной (зрительной, звуковой, ольфакторной, тактильной и пр.) афференции окружающей действительности. Ведь зачастую говорящие не в состоянии отделить лексическую единицу от ситуации её использования и эмоций, сопровождающих данное коммуникативное событие. Однако употребление сочетания «носитель социума» вызвало бы у учёных, как минимум, умиление. Так вправе ли мы говорить о «носителях»?

Главный недостаток теории речепорождения коллективного Хомского заключается в том, что ответ на вопрос «каким образом говорящий может порождать бесконечное количество грамматически правильных предложений?» ищется внутри черепной коробки говорящего, а не в социальной среде. Если говорящего на L_a вывести в другую среду и подвергнуть воздействию наиболее коммуникативно мощным L_b, то способность порождать *бесконечное* (*sic!*) количество грамматически правильных предложений на L_a будет неизменно утрачена. Таким образом, языковые познания говорящего, его *langue*, представляются некоей виртуальной копией среды, в которой данный язык использовался говорящим, а их информационный объём равен объёму языковой информации, полученной говорящим в течение жизни в конкретной среде. Коронный постулат генеративистов, что «для существования языка необходимо, как минимум, двое говорящих», опровергает саму теорию ре-

чепорождения. Ведь если механизм речи исправен, то почему сам язык не может себя сохранить с одним говорящим? Напрашивается неутешительный вывод о том, что поиски велись в заведомо ложном направлении. Минимум двое говорящих необходимы для сохранения не языка, а среды, в которой язык ещё сможет существовать, в то время как один человек сможет говорить, но воспроизвести среду не сможет. Необходимо также заметить, что минимальное количество говорящих для сохранения языка должно быть не двое, а мужчина и женщина репродуктивного возраста, иначе сохранить язык всё равно не удастся. Абсолютно утопичным вариантом развития событий можно было бы считать ситуацию с двумя оставшимися на Земле роботами, использующими человеческий язык, что не только снабдило бы рассуждения в пункте 2 неоспоримыми аргументами, но открыло бы новые перспективы лингвистических изысканий. Безусловно, перед лингвистами может стоять задача сохранить определённый язык, что является одним из направлений языковой политики, однако любые консервативные меры были бы подспудно направлены на сохранение «питательной среды» языка, а не его системы, которая может быть легко сохранена и в виде рукописи на книжной полке.

6. *Язык – отражение и выражение не когнитивных процессов*. Данной проблемы мы уже касались в §1. На самом деле язык – не отражение, а носитель мыслительных процессов. Заглядывая в учебник логики для средней школы 1954 года, находим цитату И.В. Сталина: «*Оголённых мыслей, свободных от языкового материала, свободных от языковой „природной материи“ – не существует (Сталин)*» [Виноградов, Кузьмин, 1954, с. 8]. И хотя в первом параграфе данной монографической работы этому приведено достаточное количество доказательств, считаю своей сопутствующей задачей полностью развенчать миф о «ментальных единицах» в головах говорящих *homo*.

Несомненно, фамилия Сталин вызовет бурю негодований «модных» верующих лингвистов, привыкших регулярно открывать в своей «ментальности» то «концепты», то «фреймы», то «скрипты», то иные «лингвокультурные кванты». Пышные бороды «духовности», отращиваемые постперестроечными «деятелями науки» в виде списков публикаций, не имеют ничего общего с традицией строгого научного атеизма,

благодаря которому советская наука получила такое бурное развитие. Прозрачная, внятная и верифицируемая концепция научного материализма не допускает размножения в своём лоне пустотелых идеей-однодневок, основанных на незнании элементарной логики. В современном же «демократическом» обществе, выросшем на могиле Советской империи, любая мысль-пустышка становится поводом для защиты диссертации. Неудивительно, что современные доктора наук не знают то, чем владели школьники в «отсталые» 1950-е годы.

Итак, вспомним семиотический треугольник Г. Фреге: *представление – слово – понятие* (*денотат – знак – десигнат*[95], см. рис. 2). Есть все основания считать, что язык служит средством отражения и выражения логико-семиотических процессов только внутри данного треугольника. Докажем это.

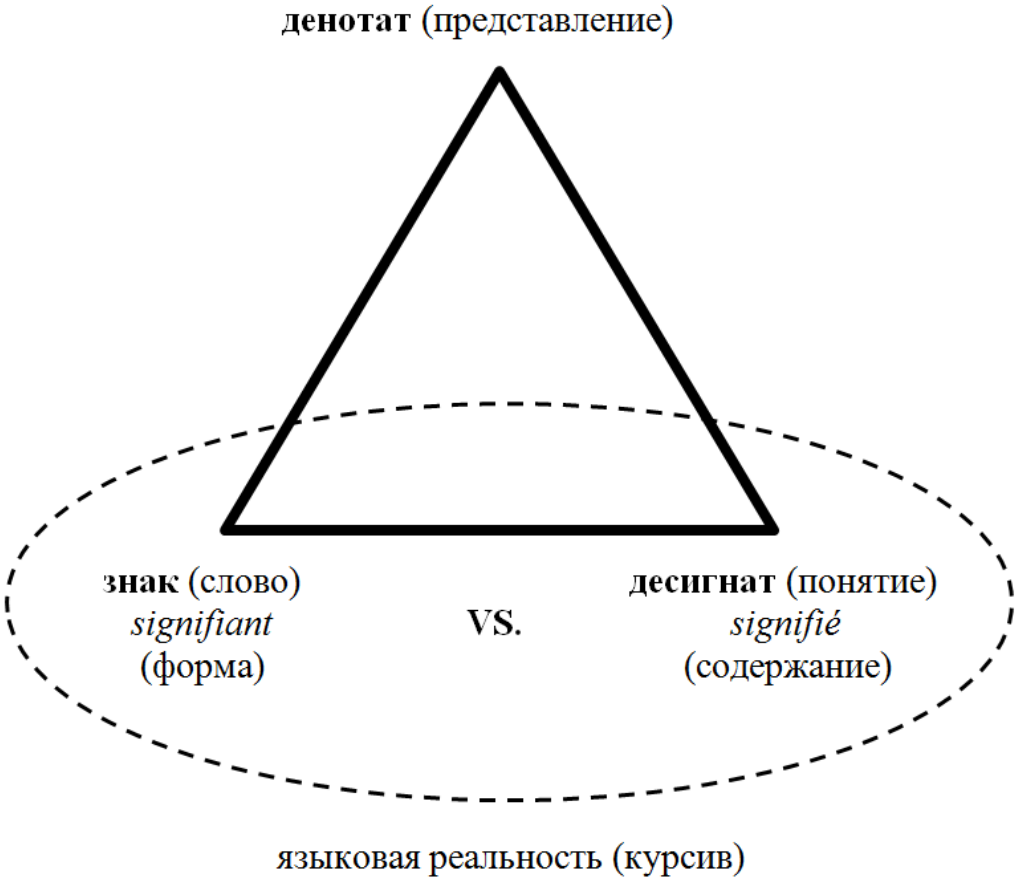

Рис. 2. Треугольник Г. Фреге

[95] «Концептом денотата» зачастую называют десигнат (понятие) [Степанов, 1971, с. 86].

Представления – это наглядные образы предметов, явлений [Виноградов, Кузьмин, 1954, с. 19], они всегда субъективны. Мои представления о бегемоте, которого я ни разу не видел в жизни, скромны. Они не связаны ни с реально живущими бегемотами, ни с самим словом «бегемот», которое используется русскоязычным говорящим коллективом для обозначения особей данного вида млекопитающих, ни с содержанием понятия «бегемот» в систематике (разделе зоологии). Мои представления о бегемоте – не языковой природы и даже не семиотической. Они – отражение моего субъективного опыта, главным образом зрительного и вторичного (на основе картинок), в коре больших полушарий.

Понятие как мысль, отображающая общие и существенные признаки предметов [Виноградов, Кузьмин, там же], нуждается в выражении, в материальной «оболочке», которой выступает знак (слово или словосочетание). В отличие от представлений, понятия конкретны и устойчивы. Благодаря их устойчивости ими пользуется множество разных людей. Как всякий накопленный опыт, понятия реплицируются в среде при помощи языка по каналам социальных связей. Понятия имеют содержание и объём: содержание – это знание о совокупности значимых (видовых) признаков предметов, объём – об известных разновидностях предметов, обладающих такими признаками (родовые признаки). К содержанию понятия «бегемот» относятся следующие видовые признаки: толстое, неповоротливое, коротконогое, полуводное парнокопытное с широкой, плоской головой, маленькими глазами и ушами, умеющее закрывать ноздри, весящее около 4 тонн и т. д. Объём понятия «бегемот» составляют следующие родовые признаки: существуют в двух видах, распространены в Африке, являются родственниками свиней и т. д.

Слово «бегемот» является единицей лексической системы русского языка, имеет лексическую длину в семь букв (алфавитных символов), заимствованно в русский язык из древнееврейского, синоним слову «гиппопотам», мужского рода, второго типа склонения и т. д.

Таким образом, в треугольнике Г. Фреге, который представляет собой здесь некий общий случай с всесторонне выраженными свойствами знака [Реформатский, 1996, с. 36–37], замкнуты индивидуальные знания о предмете (представление), коллективные знания о предмете (понятие) и коллективное обозначение предмета (знак).

Представления формируют опыт, они неязыковой природы, могут быть научными или дилетантскими и определять чьё-то мировоззрение. Понятие – оборотная сторона языкового знака, его семантика, содержание, синхронизированное с накопленными людьми знаниями о предмете. Знак (слово) – оболочка понятия, её материальное выражение в соответствии с определённой номинативной традицией (назвать стол столом, а не иначе). Следовательно, знак (слово) *выражает содержание понятий, а не когнитивные процессы*. Да, слова могут описывать представления, но при помощи того содержания, которое у них есть, – понятий. Нельзя использовать слово «красный» в значении «белый», а слово «мама» в значении «дедушка», ибо за данными словами исторически закреплены устойчивые понятия. В английском языке слово *concept* обозначает «понятие», а не представление. Последнее переводится как *idea* и к языку имеет такое же отношение, как и наш бегемот: его можно описать средствами языка *homo*, но мыслить бегемотами *homo* ещё не научился. Понятия и языковые знаки образуют собственно языковую реальность (см. курсивное поле на рис. 2), к которой нельзя отнести представления. Понятия являются единицами мышления, образуя в совокупности его инструментарий. Обратной стороной мышления выступает звучащая речь. Внешняя речь и внутренняя (мышление) – это явления укрупнённого порядка, но той же самой этиологии и зависимости:

– лексическая единица (слово, знак) vs. семантическое наполнение (понятие);

– внешняя (звучащая, анатомизированная) речь vs. внутренняя (многократно ускоренная, логическая, деанатомизированная) речь (мышление).

Лучше всего природа мысли понимается через синтаксис, в котором отношения между частями сложного или простого предложения, содержащего инфинитивный оборот, выстраиваются по строгой логической схеме, например:

(a) *Er verließ die Stadt, ohne dass sie etwas davon erfuhr*.

(b) *Er verließ die Stadt, ohne sie etwas davon erfahren zu lassen*.

Использование инфинитивного оборота в предложении b обусловлено совпадением подлежащего в обеих частях высказывания, в результате чего модальное придаточное с составным союзом *ohne dass*

вынуждено уступить более удобному для немцев инфинитивному обороту с глаголом *lassen*, даже если конструкция при этом укрупняется. Сложно представить себе ту неразбериху, которая образовалась бы в языке, выражай синтаксис не логику, а мистическую когнитивность.

Подвожу итог вышесказанному: ***язык – отражение и выражение не когнитивных, а мыслительных (логико-семиотических) процессов и всегда ограничен объёмом и содержанием оперируемых понятий***.

Quod erat demonstrandum.

То, что концептологами, как правило, выдаётся за «когнитивное содержание», «концепт» и пр., на самом деле является семантикой единицы, т. е. её содержанием, и дело тут не просто в разнице между обозначениями «когнитивный» и «семантический», а в том, что под «когнитивным» (ментальным) нам предлагают понимать нечто бóльшее, чем семантику, нечто, отдающее мистикой, ср. утверждение: «*лексемы являются средством доступа к содержанию ментальных единиц*»[96]. Что бы ни понималось под когнитивными или ментальными единицами («концептами» и т. п.), для того, чтобы обрести языковое выражение (выразиться через язык или отразиться в языке), как гласит концептологический постулат, им нужно стать понятиями. И вот тут происходит самое непредвиденное и досадное: «концепт» „бегемот“ только собрался выразиться всей своей неповоротливой парнокопытностью в одноимённой лексеме (с её ничтожной ролью «средства доступа» к чему-то более высокому), как у неё вдруг обнаружилось уже существующее понятие «бегемот» со всем необходимым содержанием и объёмом, т. е. родовидовыми признаками, к которым добавить совершенно нечего, кроме бородатой «духовности».

Так что же изучают наши друзья концептологи? Судя по тому, что они пишут в реферативной части диссертаций, – знаки и их содержание (понятия). Ну а судя по фактуре, – представления. Перевожу на язык номенклатуры: заявлена лингвистика, а имеем фантазии в духе Фомы Аквинского, ибо представления (о бегемоте) лингвистикой не являются. Мало того, выделяя концепты как унифицированные формы представлений, нас пытаются убедить в том, что люди представляют себе окружающую действительность предельно однообразно.

[96] http://www.philology.nsc.ru/journals/spj/article.php?id=638.

Совершенно неясно и то, как попадают в голову «концепты», «фреймы», «лингвокультуремы» и т. п.? Если язык, передаваясь наиболее частым образом от матери к ребёнку, усваивается последним через структуру (грамматические категории, фонемные ряды, лексические цепочки и т. п.), то принцип усвоения человеком «ментальных единиц», вопреки десяткам тысяч триумфально и эпохально защищённых диссертаций на соискание званий кандидата и доктора филологических наук по «концептам», остаётся главной загадкой российской постперестроечной лингвистики. Чтобы в голове ребёнка появилась активная копия языковой системы, система языка в голове матери должна выразиться через речь, т. е. функционировать. А что нужно сделать, чтобы в голове ребёнка появились «ментальные единицы»?

Даже если допустить, что иерархия элементов системы как проявление одного из четырёх её фундаментальных свойств (дискретности, линейности, неоднородности, иерархичности[97]) заканчивается «концептами», то эти самые «концепты» должны обладать выраженными материальными характеристиками, как и единицы любого уровня языковой иерархии (см. об этом §8). По мере укрупнения и приобретения синкретичности, т. е. возможности реализовывать несколько функций [Киклевич, 2005, с. 8], единицы макроуровня должны обладать более чем отчётливым планом выражения (ср. грамматическую категорию рода в русском языке, распространяющуюся на все имена существительные, даже заимствованные). Тем не менее, куда бы мы ни обращали свой взор, в какой бы подсистеме языка ни искали, какой бы сложности анализ ни проводили, ни одного материального свойства «ментальных единиц» макроуровня в системе языка мы, увы, не находим.

Очевидно, последние доступны только «великим» концептологам, презревшим научный материализм ради получения заветных корочек кандидата и доктора филологических наук и разудалого наращивания индексов Хирша в различных науко(?)метрических базах данных. Примечательно, что в работах серьёзных и честных лингвистов, закалённых практикой структурализма, подобные термины, «ставшие признаком и показателем многозначительного наукообразия» [Добродомов, 2004, с. 22], совершенно отсутствуют.

[97] См. об этом: Солнцев В.М. Язык как системно-структурное образование. М., 1977. 340 с.

Отсутствие «концептов» доказывается также диахронически. Более крупные единицы имеют более продолжительную бытность в языке, это значит, что они появились раньше всех единиц системы, убывающих по иерархии, например, категория рода в русском языке гораздо старше единиц «лосьон» и «мотороллер». Система языка вместе со всеми подсистемами понимается исключительно как продукт развития. Так на каком же отрезке развития особей нашего вида язык решил выработать «концепт» „семья“ до появления слов «папа» и «мама»?

Если не критиковать постструктурализм в его актуальных экспликациях, то вполне возможно, что далёком будущем наши изрядно поглупевшие потомки, знающие о языке только по трудам концептологов, будут смотреть на космические корабли, доставшиеся им от предательски развaленного Советского Союза, и считать, что их создали внеземные цивилизации или сверхъестественные существа. Им даже в голову не придёт, что это результаты логического развития мысли по мере накопления специального опыта, отражённого и выраженного в языке. Только благодаря кумуляции полезного опыта и его спрессовыванию в устойчивые понятия (см. об этом §9) стали возможны такие коллективные достижения человечества, как наука и техника. Система понятий человека (картотека) создаётся и укрупняется по мере познания окружающего мира, как дерево, вырастающее из маленького семени, непрерывно подстраиваясь под условия внешней среды.

§6. АНТРОПОЦЕНТРИЗМ VS. ЭВОЛЮЦИОНИЗМ

Сегодня редкая диссертация, выполненная по филологическим наукам на постсоветском пространстве, начинается без навязчиво-обстоятельной аргументации важности и значимости так называемого антропоцентризма, предваряющей длинный поминальник всех тех, кто открыл то ли человека в языке, то ли язык в человеке во всех допустимых смыслах. Круг апологетов настолько широк, что регулярное появление в нём солидных лингвистов уже давно перестало кого-либо удивлять. Нагнетаемая особенно в диссертациях судьбоносность антропоцентрического подхода для решения поставленных задач настолько противоречит содержанию самих работ, что при стилистической «чистке» подлежит беспощадному удалению во благо самого же диссертанта. Признание неотвратимости и всемогущества антропоцентризма в лингвистике на первых страницах трудов стало своего рода молитвенным правилом пред начертанием «священных постструктуралистских текстов», неким литературным ритуалом коллективного благоговения, подспудно оформившись в самостоятельный жанр теоретико-реферативной части диссертаций наряду с актуальностью и новизной.

Но если для развенчания данного «божественного» культа в междисциплинарном поле сегодня достаточно открыть соответствующую статью Википедии[98], то в лингвистике, оказавшейся в зоне риска благодаря тесной связи языка и мышления, низвергнуть догму антропоцентризма только лишь предстоит. В отличие от междисциплинарной внятности антропоцентрического конструкта, прочно стоящего на протагоровском клише «*человек – мера всех вещей*», размытость очертаний антропоцентризма в постструктуралистском лингвопантеоне разоряет самые богатые фантазии. Рассуждения варьируют в широчайшем диапазоне от празднования в языкознании величайшего «*антропоцентрического прорыва*», под которым всего лишь понимается признание никогда и никем не отрицавшейся функциональности языка, до обоснования «*человекоразмерности*» отдельных языковых элементов (мне всегда хотелось спросить, по какому человеку авторы работ определяли размер тех или иных элементов языка).

[98] http://ru.wikipedia.org/wiki/Антропоцентризм.

В промежутке слоисто пролегают отчаянные измышления, близкие по духу научной фантастике и густо перемешанные с аппаратом когнитивистики, на темы «*языковых личностей*», «*антропных принципов в лингвистике*», «*антропоцентрических грамматик*», без которых система языка якобы «*не способна реализовать в полной мере всё то, что в ней заложено*», «*лексической недостаточности ментально-лингвального комплекса человека*» и необходимости её комплексного изучения в плодородном лоне антропоцентризма и т. п. Отличает антропоцентриков и бесконечная практика «позволения» антропоцентрическому подходу то «*построить психологически адекватные описания языковой системы*», то «*выявить закономерности взаимоотношения языка и речи*», то «*быть связью между языком и человеком*», то «*стать отправной точкой теоретической и практической деятельности человека*» и т. д.[99] Такое количество позволений, с позволения заметить, приближает антропоцентризм по статусу к самой обычной религии, которая стремится объяснить всё вокруг отредактированным набором мифологических сюжетов и подменить ими любое возможное познание.

На ум приходят диссертации по современной псевдо(педа)гогике, где наряду с успешно адаптированным антропоцентрическим действуют бесконечные инновационные подходы (пять подходов при четырёх задачах исследования), «позволяющие», по словам диссертантов, творить педагогические чудеса (в действительности же результаты с каждым годом всё хуже). Причём на требование доказать эти «позволения» инновационные псевдо(педа)гоги быстренько реагируют оборонительной фразой «*А это не входило в задачи нашего исследования*».

Как явствует из вышеизложенного, лингвистический антропоцентризм можно упрекнуть во всём, кроме бедности интерпретационной палитры. Он основательно и надолго усажен толпой истовых постструктуралистов на трон главного принципа лингвистики, и видимых предпосылок для его переизбрания в настоящее время нет. Такая ситуация сложилась во многом благодаря тому, что признаком «*loquens*» в современной науке наделён только *homo*, а доказать, что в языке не было бы категории *Genera verbi* (страдательного залога), изобрести язык разумные собаки, не представляется возможным.

[99] Ссылки на авторов перечисляемых цитат опущены во избежание появления нового поминальника.

И всё же можно предположить, для её отсутствия собакам не потребовалось бы обосновывать киноцентризм (греч. κύων – «собака»), гордо мотивируя непассивность своего языка наличием хвоста и клыков. Мы же, люди, для изучения природы языка обязательно должны поставить во главу угла витрувианского человека с идеалистическими пропорциями и толковать все окружающие явления (а язык принадлежит именно к таким) сквозь призму своего чрезмерного нарциссизма. Р. Докинз хотя и считает простительной «надменность ретроспективы», искушающей человека считать себя венцом творения (а все остальные виды незаконченными (*sic!*) скульптурами, что и заложено в идее общего антропоцентризма), однако открыто указывает на её наивность: «*Прогресс эволюции вовсе не подразумевает движение к человеку, и нам приходится довольствоваться совсем слабым чувством предсказуемости. Учёные должны остерегаться видения истории, сфокусированного на человеке*» [Докинз, 2015, с. 17]. И было бы странно, если бы надменность человека не распространялась на человеческий язык – тот самый признак, который, по мнению булгаковского Швондера, и делает человека человеком.

Однако давайте задумаемся, сколько же на самом деле «человека в языке» и что вообще следует понимать под словом «человек»; сколько каждый из нас значит для созидания того, что на школьном языке принято называть «богатством языка», т. е. каков вообще след *homo* в используемом им синхронно языке.

Во-первых, *современные особи homo имеют такое же отношение к языку, как и современные цапли к клюву*. Можно было бы предположить, что язык является таким же признаком человека, как и клюв – признаком цапли, если бы ни одно «но»: истории известны случаи *homo ferus*, т. е. мауглеоидов, выросших в изоляции от среды и прекрасно обходящихся без человеческого языка, о чём уже говорилось в §5. Сегодня нам известно, что *homo* – всего лишь биологический вид, а значит, на него распространяются всё те же законы эволюции, что и 18 млн лет назад, т. е. с момента зарождения гоминидов. Человеческому же языку от силы 2,5 млн лет и в отличие от клюва, способствующему выживанию птиц как классу (который значительно крупнее семейства цаплевых (*Ardeidae*)) уже около 160 млн лет [Codefroit et al., 2013, p. 359],

биологическому выживанию вида *homo* язык в дикой природе никак не способствует. (Отсюда и его ценность для эволюции в сравнении с клювом, обозначить который не то что цаплиным, даже птичьим неверно по причине наличия его ещё у динозавров-тероподов.) Современные особи *homo* родились в среде, где язык уже давно существует. Они так же пользуются им, как и современные цапли клювом. И язык, и клюв – коллективные достижения эволюции, которые «*не бывают завершёнными – и в то же время всегда „завершены“*» [Докинз, 2015, с. 17] лишь ради обеспечения выживания живых существ. Попытка антропоцентриков наложить на язык свой копирайт свидетельствует лишь о стяжательском духе (нем. *Zeitgeist*) нашей эпохи, но никоим образом не о научности практикуемого ими подхода.

Во-вторых, *человеческий язык в его сегодняшней форме – ингредиент искусственной (экзосоматической) среды, вне которой не существует по причине своей бессмысленности для биологической эволюции*. Конечно, здесь можно узреть редкий шанс доказать ту самую привязку языка к *homo*, о которой так много и вожделенно пишут антропоцентрики, однако и здесь не обходится без «но». Язык как членский билет в гердеровской среде (см. о базовых функциях языка §7) во всей совокупности его проявлений сопровождает лишь седьмую часть бытия человека на земном шаре, которую к тому же нельзя считать исключительно биологической. Он – продукт усложняющейся эволюции нервной системы, усложнения социального взаимодействия цефализированных особей *homo* и, в первую очередь, усложнения самой среды человеческого обитания. Искусственно привитая потребность в разграничении понятий, их упорядочивании и уточнении средствами языка наводит на мысль о процессах надиндивидуального, т. е. коллективного, средового порядка. Грамматика, как известно, результат применения к языку логики как «*науки о законах и формах правильного построения мыслей*» [Виноградов, Кузьмин, 1954, с. 3], поэтому язык, как следует из §5, – отражение логико-семиотических процессов, протекающих в среде (*sic!*). Следовательно, в основе языка лежит не «антропный принцип»[100],

[100] Совершенно неизвестно, что подразумевают приверженцы антропоцентризма под антропным принципом, однако в космологии он связывает наиболее существенные черты Вселенной и фундаментальные свойства материи с существованием во Вселенной жизни и, в частности, самого человека [Идлис, 1958, с. 39].

а *логический* (ср. различия в семантике немецких глагольных композитов сообразно значениям детерминативных элементов: ***mit****hören* – слушать в качестве присутствующего (свидетеля), ***zu****hören* – слушать в качестве зрителя (слушателя), ***weg****hören* – не слушать (отвлечься), ***hin****hören* – слушать что-то конкретное). Отрицание «антропности» находим у Р. Келлера, обосновывающего язык как «феномен третьего вида», не зависящий от сознательной деятельности самого человека [Келлер, 1997, с. 270–271]. Мне не известно, скрывается ли за воспеванием лингвистического антропоцентризма неуклюжая попытка волюнтаристской трактовки природы языка или больше келлеровской, однако ни первая, ни вторая не делает человека в буквальном смысле «отправной точкой» языковых процессов. Скорее язык как средовый вирус (см. об этом подробнее §4) делает человека таким, каким мы привыкли видеть его сегодня. Человек же, стоявший у истоков языка, вызвал бы у нас сегодня, по меньшей мере, панику, полностью отбив всяческое желание связывать язык в его современном понимании с продуктами биологической эволюции. Наличие собственной среды обитания *homo* никоим образом не отменяет саму эволюцию. Среда создавалась, чтобы уменьшить негативное воздействие окружающих факторов, так сказать, смягчить давление эволюции, но внутри среды действуют все те же эволюционные механизмы, что и за её пределами, и сегодня очень сложно сказать, где они мягче, зная природу современного человека. Как отмечает классик палеоневрологии С.В. Савельев, «*в конструкцию мозга заложен простой биологический алгоритм, направленный на решение проблем добывания пищи и размножения (перенос собственного генома в следующее поколение); всё остальное* (*включая язык* – прим. Ю.К.) *представляется только временными средствами или несущественным побочным продуктом этих мероприятий; любые социальные ценности и правила не имеют никакого значения и легко приносятся в жертву высшей цели – самовоспроизводству*» [Савельев, 2014, с. 32]. Если бы можно было молчать и легко решать данные задачи как в так называемом «райском периоде»[101], человек не задумываясь бы отказался от языка и занялся бы бесконечным самовоспроизведением, между делом жадно и смачно набивая рот любимым сортом колбасы.

[101] См. подробнее о периоде «райской эволюции»: Савельев С.В. Нищета мозга. М., 2014. С. 41–52.

В-третьих, *человек в своей жизни очень мало значит для созидания используемого им языка* (см. об этом также пункт 2 в §5). Если во главе всего того, что касается функционирования и изменения языка, стоит человек, то больше и некого винить в том, что в русском языке нет эквивалента составному немецкому союзу *ohne dass*, инфинитивов перфектного *gemacht haben* и страдательного вида *gemacht worden sein*, в китайском языке – пробелов между иероглифами, а в узбекском языке – раздельных форм местоимения *у* (он, она, оно). Однако при попытке исправить эти лингвистические несправедливости одного человека и даже всего языкового коллектива оказывается недостаточно. Этот пример доказывает, что язык куда больше, чем один его пользователь и даже совокупность всех говорящих на нём. Литературные нормы формируются десятки или сотни лет, сами литературные языки, как исторические макробионты, живут тысячелетиями, в то время как жизнь среднестатистического человека весьма скоротечна, уже не говоря о её созидательной стороне. Любой из словарных глаголов литературного русского языка переживёт всякого ныне живущего и почти наверняка его потомство. Многим словам более тысячи лет, они зародились в совершенно других языковых системах и, будучи хорошо адаптированными к эволюционным преобразованиям, кочуют из языка в язык, оставляя после себя лишь графические отпечатки своих промежуточных эволюционных состояний. Развитие и изменение языков – плод созидательной деятельности многих поколений *homo* внутри собственной среды, гигантский коллективный эксперимент с непредсказуемым финалом. Тот неимоверный прирост средств в результате преобразования рудиментарных форм в литературные языки-макропосредники был бы невозможен без развития и изменения самого человеческого (со)общества и среды его обитания. Возьмём наиболее значимых творцов и оценим их вклад в использованные ими языки: в русский – А.С. Пушкина, в немецкий язык – М. Лютера. И правнук арапа Петра Великого, и виттенбергский теолог-реформатор вошли в историю благодаря *отбору литературных норм*. В произведениях А.С. Пушкина и переводе библии М. Лютера *очень мало принципиально новых средств, а преобладают новые комбинаторные и выразительные возможности*, отобранные ими для продолжения / создания литературной традиции своего языка.

Следовательно, даже выдающие творцы оставляют весьма скромный след в языковом составе, который в §9 обозначен «физикой» языка. Тем самым, как и в случае с клювом цапли, человек никакой не создатель и не созидатель языка, не его «мерило», а в 99 % случаев лишь обычный пользователь[102]. Лучшее, что человек может сделать при жизни с языком, – поспособствовать эрозии литературных норм, сглотнув несколько тысяч окончаний и понаделав массу ошибок в словарных словах. *Язык создаёт и созидает эволюция, а значит, роль человека в языковой истории на земле несколько преувеличена*.

В-четвёртых, *антропоцентрики понимают человека мистически, ненаучно, в близком значении понятию «личность»*, что доказывает вершина ароморфоза антропоцентрической мысли в точке «языковой личности». Это отдаёт значительной переоценкой места человека в общей картине жизни на Земле и во Вселенной. Антропоцентрикам явно недостаёт разумного, спокойного и хладнокровного, т. е. научного, восприятия *homo* как изучаемого объекта. Так что же такое человек? С точки зрения эволюции – промежуточный биологический вид, отрезок времени существования живой материи, отведённый всем нам в наших пространственно-временных координатах. Мы влачим жалкое бытие космических микробов, полученных путём химического синтеза (теория абиогенеза), в самом нижнем слое атмосферы крохотной планеты Земля в гелиотропной (солнечной) системе очень провинциальной галактики, романтически обозначаемой нами «Млечный путь». А может быть у галактики другое имя? Или у Земли? Или им вообще не нужны имена-символы по принципу *nomina sunt odiosa*[103]? Но мы привыкли давать всему окружающему нас имена, потому что так нам проще познавать жизнь, ведь мы для себя – центр Вселенной. В целом же люди – лишь колония микробов на её обочине, существенно ограниченная в своей деятельности геологическим временем. По меркам космоса мы вообще не живём, поэтому шансов на величие во Вселенной в духе антропоцентризма у нас просто нет. Есть лишь один небольшой шанс признать свою микроскопическую ничтожность во Вселенной и радоваться той

[102] В немецком языке для обозначения такого пользователя существует акроним *DAU* (*dümmster anzunehmender User* – глупейший предполагаемый пользователь, «чайник») по аналогии с термином *GAU* (*größter anzunehmender Unfall* – крупнейшая предполагаемая авария), снабжающим обиходное обозначение *DAU* коннотацией катастрофической бесполезности такого пользователя.
[103] Лат.: *имена ненавистны*.

доле астрономической секунды космического времени, за которую проносится наша жизнь. В гердеровской среде мы привыкли воспринимать друг друга через понятия «личность». При этом кошки, разделяющие с нами среду обитания, звания личности в основном не удостаиваются, хотя и снабжаются именами. Для нас они просто вид. Но мы для себя – всегда что-то большее. Эволюция же уравнивает всех нас в наших биологических правах: она не играет с нами в наши внутривидовые роли (важного, более важного и самого важного) и не признаёт званий академика, героя России или лучшего менеджера отдела продаж. Для неё фабричный рабочий такой же биологический индивид, как и профессор кафедры риторики, обитатель зоопарка или щенок, мёрзнущий у подъезда томской хрущовки (см. об этом также §3). *Вот именно так, глазами эволюции, должны смотреть на человека те, кто обозначает себя учёными и позволяет себе делать выводы об эволюции языка*.

В-пятых, *антропоцентризм – это почти всегда видовой шовинизм*. Он несведущ и надменен одновременно. Если *homo* разговаривают ртом, то настоящими предтечами человеческого языка следует считать челюстноротых плакодермов в силурском периоде (около 443–419 млн лет тому назад). Обладание голосовыми связками тоже не добавляет *homo* авторства, ибо не имеющие голосовых связок дельфины издают до 800 звуковых сигналов [Передерин, 2007, с. 256], при этом звуковой регистр человеческого языка ограничен всего 90 фонемами [Невзоров, 2012, с. 210], т. е. почти в 9 раз беднее дельфиньего. Неправильно считать также, что до возникновения среды языка как феномена не существовало. В своём нашумевшем труде «*Idiomologie des animaux ou recherches historiques, anatomiques, physiologiques, philologiques, et glossologiques sur le langage des bêtes*» («*Идиомология животных, или исторические, анатомические, физиологические, филологические и глоттологические исследования языка животных*», 1844) французский врач и диалектолог К.-Ш. Пьеркен де Жамблу доказывает связь языка южноамериканских обезьян и местных индейцев, а также приводит глоссарий (фр. *glossaire-ouistiti*) из 11 слов-сигналов и посвистов, используемых обезьянами для обмена сведениями в стае [Pierquin de Gembloux, 1844, p. 150–154]. Немецкий лингвист и антрополог Г. Швидецкий, бургомистр в то время прусского города Лешно (*Lissa*) и председатель Общества изучения языков животных и праязыков

(нем. *Gesellschaft für Tier- und Ursprachenforschung*), обосновывает в своём труде «*Schimpansisch, Urmongolisch, Indogermanisch*» («*Язык шимпанзе, древнемонгольский, индогерманский*», 1932) вклад обезьяньего в такие человеческие языки, как древнекитайский, санскрит, немецкий [Schwidetzky, 1932]. Сложно оставить без внимания критическую ремарку «*обезьяны-то нас не поймут*»[104] знатока рун В.А. Чудинова, отказывающего эволюционизму в научности. Общеизвестно, что у обезьян нет такой эволюционной задачи – понимать нас. Рассуждения В.А. Чудинова, которому можно предложить для начала научиться понимать язык обезьян, обитающих в Московском зоопарке, пропитаны не только токсичным антропоцентризмом, но и вопиющим видовым шовинизмом: «*Из многих индоевропейских языков к состоянию артикуляционного аппарата младенца (наиболее естественному для человека) ближе всего стоит русский язык*»[105]. Отвечу ярому русофилу цитатой из Р. Докинза: «*Считать, что существуют некие „магистрали“ эволюции, делающие слона слоном, а человека человеком* (*при этом обязательно русскоязычным* – прим. Ю.К.) *и отдать другим видам второстепенные роли – большой соблазн и историческая неправда*» [Докинз, 2015, с. 18–19]. Наличие примитивной знаковой системы у обезьян указывает на то, что разновидность языка всегда привязана к определённой среде обитания. *Однако* ***язык как явление эволюции видов никоим образом не зародилось впервые в истории в среде homo и не может рассматриваться исключительно как признак человека***. Скорее это признак слагающейся среды, усложнения внутрисредового взаимодействия особей и противодействия внешним негативным воздействиям (ср. покрик «*guenokiki*» в среде наблюдаемых К.-Ш. Пьеркен де Жамблу обезьян как предупреждение о чрезвычайной опасности и выражение первобытного ужаса (фр. *frayeur terrible: cri d'alarme qui équivaut à fuir, à craindre fortement, redouter*) [Pierquin de Gembloux, 1844, p. 151]).

В-шестых, *антропоцентризм – не более чем печальный итог нашего человеческого мышления*. Гордиться им так же смешно, как и носом, благодаря форме которого дождевая вода не попадает нам в верхние дыхательные пути. С точки зрения эволюции, антропоцентри-

[104] http://chudinov.ru/kriki-zhivotnyih-chelovecheskaya-rech-russkiy-yazyik/3/.
[105] http://chudinov.ru/kriki-zhivotnyih-chelovecheskaya-rech-russkiy-yazyik/8/.

ческое мышление – естественный атрибут живого *homo*. Это автаркное, зауженное собственным бытием мироощущение, граничащее с обывательским; это незнание (или нежелание знать), что мы не сразу стали тем, кем являемся сегодня, и, скорее всего, изменимся до неузнаваемости, а «поиски общего предка объединили бы нас в конечном итоге со всеми ныне живущими организмами на земле» [Докинз, 2015], т. е. заурядное, среднестатистическое мышление обитателей гердеровской среды, привыкших взаимодействовать с такими же обитателями и лишённых элементарной широты кругозора. Требовать от человека мыслить неантропоцентрично автоматически превышает интеллектуальный потенциал подавляющего большинства современных *homo*. Внутри человеческой среды таким мышлением могут похвастаться очень немногие, так как она сама, скрепляя её обитателей невидимыми связями, создаёт предпосылки для формирования у них человекоцентризма. Последний же, как признаются сами антропоцентрики, становится залогом *антропоморфизма* окружающей среды, т. е. её обустройства сообразно восприятию, нуждам и желаниям самого человека – «по его образу и подобию». Трусики на айфоне – ярчайшее проявление антропоморфизма. Любой автобус высокоантропоморфен: у него есть подножка под дверью для ноги водителя, руль округлой формы для захвата кистями человеческих рук, окна для обзора окружающей местности особями среднего роста человека, сидения со спинками, поручни, аптечка, противогаз – словом, всё для человека. Антропоморфизм заложен в самой среде как некое центральное человекообразие. *Homo* изображает антропоморфно даже своих богов и божеств, снабжая их челюстноротостью (признаком силурских рыб), хордовостью (признаком эдиакарских вторичноротых), плацентарностью (признаком юрских млекопитающих) только потому, что все эти признаки синхронно объединены в нём самом. Таким образом, *антропоцентризм – это стандартный способ нашего мировосприятия, а вовсе не научный подход*. Если бы мы были пауками, то, видимо, главной гордостью нашей науки был бы арахноцентризм: осьминожие (или восьминожие) и концентрическая сеть с умельчающейся к центру структурой. Мы бы готовили еду в коконах, которые, очевидно, стали бы прообразом наших холодильников, свисающих с потолка; в нашем языке обязательно было бы сравнение «*бес-*

помощен, как муха в сети», а главы диссертаций должны были бы нумероваться по спирали. Мы зело бы гордились арахноцентризмом сотканной паутины интриг, коварно завлекая туда менее удачливых соплеменников, а главной книгой, которой бы мы поучали своих паучат в нашей арахноморфной среде, стала бы «*Повесть о настоящем членистоногом*».

Итак, антропоцентризм по всем позициям проигрывает эволюционизму и им же и объясняется. (Вообще странно, что это приходится обосновывать спустя более полутора веков после выхода в свет главного эволюционистского труда на тему происхождения видов[106].) Человек и язык в равной степени подлежат эволюции, и нет ни одной разумной причины возносить человека над языком. Язык эволюционирует вместе с человеком, тонко реагируя на изменения в среде, однако при этом он не является достоянием самого *homo*. Язык может легко пережить любого из нас, весь языковой коллектив (смерть малых языков давно перестала быть чем-то особенным, при этом оставаясь наименее изученной проблемой в лингвистике) и даже человеческий вид. Однако, будучи своего рода паразитом в гердеровской среде, он предпочитает эволюционировать в переносчике (*host*) – человеке. Таким образом, ***язык можно и нужно рассматривать как феномен человеческой коэволюции***.

Возможно, именно это и хотели сказать антропоцентрики, объявляя человека языковым трафаретом, однако всё выглядит совсем не так. Любому уважающему себя учёному следует без сожаления отказаться от антропоцентрической гипотезы, чтобы не превратиться в вещателя видового шовинизма или, ещё того хуже, противника эволюции. Завершаю параграф цитатой В.П. Даниленко, ставшей в отечественной антрополингвистике крылатой: «*Движение знания к объективной истине, в первую очередь, зависит от наличия в сознании его носителей единственно верного мировоззрения – эволюционизма. Именно эволюционизм позволит человечеству выжить*» [Даниленко, 2015, с. 16].

[106] Книга Ч. Дарвина «*On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life*» («*Происхождение видов путём естественного отбора, или Сохранение благоприятных рас в борьбе за жизнь*») была впервые издана в 1859 г.

§7. ВАЖНЕЙШИЕ ФУНКЦИИ ЯЗЫКА. ЯЗЫК И ТРАНСГУМАНИЗМ

Язык – неотъемлемая часть эволюции человека и, в первую очередь, эволюции человеческого мозга. Поэтому выведение важнейших функций языка напрямую зависит от понимания его роли, места и назначения в «величайшем шоу на земле», как характеризует дарвиновскую эволюцию Р. Докинз[107].

Важнейшим звеном эволюции, предваряющим появления языка, выступает *цефализация* (греч. κεφαλή – «голова»), т. е. «процесс обособления головы у билатерально-симметричных животных, обусловленный тем, что передний конец тела, несущий ротовое отверстие и органы захвата пищи (челюсти и др.), первым вступает в контакт с новыми объектами среды, поэтому в нём концентрируются органы чувств, а также передние отделы центральной нервной системы, регулирующие функционирование этих органов и составляющие головной мозг» [Биологический энциклопедический словарь, 1986, с. 702]. Цефализация по В.И. Вернадскому – «непрерывный с кембрия, с остановками, но без возврата назад, рост центральной нервной системы, мозгового аппарата в одном и том же направлении, обеспечивший переход из биогенеза к ноосфере (социогенезу – *прим. Ю.К.*)» [Вернадский, 2007, с. 63].

Получив своё первоначальное завершение в человеке, цефализация впоследствии способствовала появлению у особей *homo* звучащей и внутренней речи (мышления) для осуществления социального взаимодействия друг с другом. Агрегация гердеровской среды – событие наиболее сложного порядка, промежуточный итог эволюции нервной системы *homo*. Внутри среды *язык выступает внешним рычагом, своего рода динамо-машиной, для разумной деятельности обладателей цефализированного мозга*. Наличие собственной среды предоставляет особям *homo* не только защиту от опасных воздействий внешнего мира, многократно увеличивая шансы на репродукцию, но и гарантирует быстрый доступ к ресурсам. Возможно, когда-нибудь, по мере усложнения или упрощения нашей нервной системы, мы перестанем говорить. Речь нам станет не нужна, как и волкам, муравьям и пчёлам, имеющим сложную социальную иерархию, но прекрасно обходящимся без языка.

[107] См.: Докинз Р. Величайшее шоу на земле. Доказательства эволюции. М., 2012. 528 с.

Так каковы же стержневые функции языка в человеческой среде?

Во многих современных учебниках языкознания, написанных отечественными и русскоязычными языковедами, важнейшей функцией человеческого языка называется *коммуникативная* [см., к примеру: Маслов, 1987, с. 9; Кодухов, 1987, с. 21; Вендина, 2002, с. 24; Гируцкий, 2003, с. 29]. Сегодня её главенство в функциональной природе языка понимается как трюизм, и, главное, никем никогда не оспаривается.

На втором месте в ранжире значимости прочно обосновалась так называемая когнитивная функция, напоминающая всем о том, что к власти в лингвистике надолго пришли верующие постструктуралисты, зачастую весьма агрессивно отстаивающие право мистики в своих головах на достойное существование[108].

Остальные места распределяются преимущественно по остаточному принципу между менее судьбоносными, но обязательными для упоминания эстетической, мыслеобразующей, констатирующей, апеллятивной, метаязыковой, контактной и пр. функциями.

Но так ли это? Давайте рассуждать.

Во-первых, совершенно неверно полагать, что функции языка должны оставаться одними и теми же на протяжении всей истории его существования. Повторюсь: однажды мы можем прекратить пользоваться звучащей или письменной речью (последняя уже активно вытесняется из оборота средствами электронной коммуникации) и, возможно, всё, что останется от языка в нашем кибернетическом будущем, будет алгоритмизированная компьютерная программа, а все остальные материальные и функциональные проявления языка исчерпают свою значимость и необходимость. Поэтому логично предположить, что *язык в ходе исторического развития меняет свои базовые функции, приспосабливаясь к актуальным тенденциям внутри гердеровской среды*.

Во-вторых, «первородство» коммуникативной функции ложно. Конечно, сегодня невозможно отделить *homo* от *loquens* так же, как и представить себе язык вне контекста человеческой коммуникации. Но давайте допустим на мгновение, что приматы изобрели язык для общения. В этом случае, даже закрывая глаза на совершенную избыточность данного изобретения в животном мире, мы не сможем не признать

[108] Ср.: http://www.academia.edu/24590941.

важнейшей функцией такого «языка» бытие самоцели. Такая функциональная основа лишает саму коммуникацию всяческого бытийного смысла, ведь если язык решает важную функцию общения, то почему многие пользователи отдают предпочтение в меру говорящим или даже молчащим по принципу *silentium videtur confessio* – «молчание – золото»? Всё дело в том, что язык, существующий лишь ради языка, становится «средством заполнения пустот в пространстве, индикацией жизни, самоцелью» («*Die Sprache hat vielmehr die Aufgabe, die Leere auszufüllen, Leben anzuzeigen; sie ist häufig um ihrer selbst willen da*»), как отозвался о нём известный немецкий эссеист К. Тухольский [Tucholsky, 1989, с. 67]. Коммуникативная функция в чистом виде есть *общение ради общения* (феномен бабушек на скамейках у подъездов или подружек, часами болтающих по телефону). Да, такое можно увидеть сегодня сплошь и рядом (в первую очередь, в силу манипулятивно-потребительского характера использования современным *homo* накопленных благ цивилизации), но это не повод рассматривать язык как сиюминутное средство массового потребления, которое можно по надобности употребить и забыть. Сегодня мы знаем, что приматы усложняли себе дыхательные процессы и вымучивали различные звуки, буквально «ломая язык», не просто ради забавы. А для чего же?

Действительно, чтобы выяснить назначение языка, следует понять, в чём проявляется его надобность для *homo*.

Вряд ли кого-то удивит тот факт, что язык выполняет сегодня важную *функцию «приращения» человека к самой среде*. Представьте на мгновение, что Вы родились глухонемым / глухонемой, и тогда вся важность владения живым языком станет более чем очевидной. Вспомним людей в поездах, продающих самодельные безделушки и изъясняющихся знаками. Это фактически лучшее, чем можно заниматься, будучи лишённым / лишённой возможности порождать и / или понимать речь. *Полноценность человека приобрела для нас давно экзистенциальный смысл*: мы жутко боимся инвалидности, ущербности, ненужности по причине неизбежного остракизма, т. е. отрезанности от общества. Язык стал ключевым средовым средством (простите за плеоназм!) достижения важнейших общественных благ: образования, работы, карьеры, здоровья, социальных услуг, отдыха, путешествий и пр.

Приведу более простое сравнение: человек очутился в среде, язык которой не знает. В этом случае ему закрыт доступ к большинству общественных благ. Конечно, ему могут предоставить услуги переводчика, но только в том случае, если он уже владеет одной из разновидностей человеческих языков на планете (или хотя бы одним из релейных[109] языков Европы (английским, французским, немецким)), т. е. *привязан (приращён) к определённой среде*. Следовательно, будучи важнейшим средовым ингредиентом, *язык выступает неким связующим веществом – цементом среды, обеспечивая связь между всеми её обитателями*. Итак, социальная надобность языка понимается лишь из надобности самой среды, т. е. её гуманистической миссии, а именно – *служить человеку своеобразной колбой с питательным раствором*.

Тем самым, *задачи языка и среды пересекаются*. По всей видимости, именно потребность в связи всех цефализированных особей *homo* внутри среды сыграла решающую роль в развитии человеческой речи, а позже и в появлении её референциальной разновидности, т. е. образовании каузативно-темпорального механизма речи «*что, если?*» (см. об этом также §1). *Следовательно, на язык, как скрепляющий ингредиент среды, автоматически возложено выполнение и её задач*.

Давайте обратимся к знаниям школьной биологии. Что объединяет особей в одну популяцию? Ответ на это вопрос прольёт свет и на функции самого языка. Мы можем видеть, что поиски ответов заводят нас, вопреки рвениям постструктуралистов, не в царство «духовного», а в самое что ни на есть урочище дарвинизма. Итак, особи объединяются в популяции для создания благоприятных условий естественного отбора, проще говоря, для гарантированного размножения. Для этого им нужна надорганизменная форма организации жизни, сохраняющая их генофонд. Такой формой жизни для *homo* и стала гердеровская среда.

Необходимость её создания, однако, решает не столько гуманистические, сколько трансгуманистические задачи. Трансгуманизм интерпретирует деятельность разумных особей *с точки зрения улучшения условий их существования и преодоления негативных аспектов последнего: разлуки, страданий, болезней, старения и даже смерти*.

[109] Релейными (нем. *Schaltsprachen*) считаются вспомогательные языки, обеспечивающие взаимодействие между носителями малых или редких языков, к примеру, в Европарламенте, где возникает необходимость перевода с суоми (финского) на мадьярский или с эстонского на албанский.

А значит, ***назначение среды, а вместе с ней и человеческого языка, – преодоление негативных аспектов бытия***. Таким образом, через агрегацию гердеровской среды человек на самом деле пытается преодолеть границы человеческого – видовые, биологические. В переводе на бытовой язык это означает следующее: расширить горизонты познания, стать здоровее, улучшить качество жизни (начать лучше питаться), увеличить её продолжительность и т. д.

Действительно, благодаря появлению среды человек накопил гигантский трансгуманистический потенциал, увеличив продолжительность собственной жизни с 30 до 80 лет, т. е. более чем в 2,5 раза (*sic!*). Количество знаний, аккумулированных многими поколениями предков, переходят в качественное улучшение жизни потомков. Сегодня на вооружении трансгуманизма находятся преимущественно достижения в области техники и биоинженерии. В воздухе витает идея о вечной жизни, и даже находятся добровольцы, подвергающие себя криогенной заморозке, чтобы проснуться в далёком будущем, когда смерти больше не будет. *И средством достижения всего этого выступает язык*.

На первый взгляд всё это кажется фантастическим, в особенности, что касается языка, однако давайте разбираться. Для убедительности перечислим наиболее негативные аспекты нашей жизни, которые удалось преодолеть пока что только при помощи языка как важнейшего ингредиента среды: а) время, б) смерть.

А. *Время.* И.А. Чеснокова, продолжительно и детально изучавшая так называемые «открытые письма» в компьютерной сети Интернет пишет о возможности преодоления времени средствами эпистолярной автокоммуникации: человек пишет себе самому (полиадресатное) письмо в будущее (онтодостижимое, которое он сможет прочесть при жизни, или онтонедостижимое). В этом случае субъект распадается (диссипируется) на Я-настоящее и Я-будущее, вступающие в автокоммуникативный диалог, преодолевая значительные отрезки времени [Чеснокова, 2016, с. 5]. Такое послание способно не только раздвинуть рамки пространственно-временного континуума (что не удавалось ещё никому), но и превратить одного человека сразу в нескольких адресатов (Я-в-ближайшем-будущем, Я-в-далёком-будущем, Я-в-очень-далёком-будущем, Я-сейчас-и-здесь, Я-там-и-тогда и т. д.).

Б. С*мерть*. Лишь благодаря языку мы и сегодня можем наслаждаться *бессмертными* строками И.С. Тургенева, Г. Флобера и Еврипида. Слова, как известно, живут дольше людей, поэтому произведения литературы надолго переживают своих создателей, позволяя потомкам проникнуться мирами идей и чувств даровитых творцов. Другой пример: имя, данное человеку, гораздо раньше техники и биоинженерии научилось преодолевать границу человеческой смерти, оставаясь в памяти людей как воспоминание об усопшем / усопшей.

Как можно видеть, ***важнейшей функцией языка является средовая, или трансгуманистическая***. Обеспечивая приращение особей *homo* к условиям гердеровской среды, созданной с целью улучшения существования человеческой популяции, она фактически проводит грань между *homo ferus* (Маугли) и *homo litteratus* (Эйнштейном). Вероятно, наиболее отрезвляющим и унизительным для постструктуралистов будет познание *об исключительно биологической (видовой) приуроченности важнейшей функции языка*. Ходя в магазин за покупками, посещая врача, читая стихи любимой / любимому, человек преодолевает голод, болезни, одиночество. Сегодня поведение социальной цефализированной особи *homo* выглядит именно так, и основой данного поведения является язык (см. об этом также §4).

Следовательно, *второй по значимости следует признать языковую* ***функцию контроля поведения, или перформативную***, перекладывающую на язык такие поступки, которые совершить иначе как языком невозможно: клятвы, инаугурационные речи, договоры, согласие взять в жёны / мужья, и пр. Данные поступки имеют особую социальную важность и влекут за собой высокую ответственность вплоть до физического истребления (например, за клятвопреступление).

Антагонистом первой функции является ***демаркационная***, позволяющая говорящим отграничивать одни среды от других внутри общей среды обитания вида *homo*. По мере укрупнения среды происходит неизбежное разделение поведенческих ролей и сфер влияния. Базовым средством «*внутренней консолидации и внешней дезинтеграции*» (*«Ausgrenzung nach innen und Abgrenzung nach außen»*) в гердеровском смысле [Götze, 2009, S. 327] выступает язык, существующий в среде *homo* благодаря данной своей функции в пёстром многообразии.

Четвёртое место в рейтинге значимости занимает ***номинативная (назывная) функция языка***, обеспечивающая связь картотеки головного мозга *homo* с явлениями, процессами, объектами окружающей действительности (см. об этом подробнее 1.1). Задачей языка здесь выступает преодоление безымянности, размытости и неопределённости человеческого бытия (область исследования ономасиологии, см. также §9).

Давая имена всему окружающему, человек учится, познаёт мир, развивается внутри среды по линнеевскому принципу «*nomina si nescis perit et cognitio rerum*»[110] (лат. «*уйдёт название, исчезнет и понимание вещи*»). Значимость наименования для познания окружающего мира сложно переоценить: многое вокруг нас мы различаем лишь по имени (ср. виды животных, растений). Имена собственные относятся к языковым универсалиям, а в немецком языке существует любопытная паремия как сгусток уникального культурного опыта «*der Name ist Programm*» (*имя говорит само за себя; в имени заключён характер вещи*).

Ну и, наконец, чтобы механизм снабжения названиями (обозначения) явлений, процессов и объектов для их познания и различия между собой был действенным, имя должно иметь знаковую природу и быть узнаваемым. Поэтому *завершают список важнейших языковых функций* ***сигнификативная и перцептивная***, связанные с каналами репликации языка в среде (см. об этом. §4). Как пишет классик языкознания А.А. Реформатский, «*знаки языка, будучи материальными единицами, выполняют две функции: доведения речи до восприятия и различения значимых единиц языка*» [Реформатский, 1996, с. 85].

Таким образом, получилась полная картина важнейших языковых функций в иерархии от единиц языка до области экстралингвистики. Может показаться странным, что среди базовых функций языка, выделенных вследствие имплементации средового подхода, нет ни коммуникативной, ни когнитивной, ни эстетической. Обратимся для достоверности к положениям, изложенным в совместном труде классиков социолингвистики А.Д. Швейцера и Л.Б. Никольского «*Введение в социолингвистику*» (1978): «*Язык несёт следующие социальные функции:* ***консолидирующую***, ***разъединяющую*** *и* ***интегрирующую***. *Различие*

[110] Цитата принадлежит шведскому естествоиспытателю, создателю единой системы классификации растительного и животного мира К. Линнею.

между, как будто, совпадающими по названию консолидирующей и интегрирующей функциями состоит в том, что первая, реализуясь в стихийном процессе слияния этнических общностей, способствует становлению других этнических единиц, но только более крупных, вторая же, возникая и усиливаясь в результате сознательных действий общества или государства, направленных на распространение языка, необходимого для межнационального общения, интенсифицирует формирование национально-политических общностей. С другой стороны, разъединяющая функция тесно связана с консолидирующей, поскольку в действительности представляет собой преобразование этой функции, которую язык выполняет внутри общности, стремящейся к отделению. Для осознания отдельности языка необходимы не только материальные различия между языками, но и единообразие формы речи, претендующей на статус самостоятельного языка. Таким образом, предпосылкой появления у языка разобщающей функции являются высокая степень внутриэтнической консолидации и, как следствие, лингвистической гомогенности её языка» [Швейцер, Никольский, 1978, с. 22–23].

Как можем видеть, и здесь ни единым словом не упоминаются так полюбившиеся постструктуралистам мистические функции языка. Напомню, что *средовый подход всего лишь исключает существование языка вне гердеровской среды*. Он не отрицает ни важности общения внутри неё (коммуникацию), ни тем более важности познания нового средствами языка (гносео- и аксиологические аспекты языкового функционирования), в том числе в моменты получения эстетического удовольствия от лирических композиций.

Как уже отмечалось ранее, огромное преимущество средового подхода состоит, прежде всего, в том, что он позволяет *рассматривать язык без вредных постструктуралистских «примесей»*, не имеющих никакого отношения к языковой природе. Его основой выступает междисциплинарное знание о языке как неотъемлемой составляющей человеческой среды обитания, что лишает его всяческих подозрений в однобокости и предвзятости.

§8. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК В ФОКУСЕ СРЕДОВОГО ПОДХОДА

Невозмутимая гегемония антропоцентризма в отечественной лингвистике побуждает опасаться за судьбу многих традиционных ветвей исторического языкознания, одной из которых является изучение литературных языков. Уже сегодня термин «литературный язык» даже у лингвистов ассоциируется в лучшем случае с образно-художественной функционально-стилистической разновидностью литературного языка, т. е. 1/5 его частью, больше известной как стиль художественной литературы. Отождествление литературного языка с языком литературы стало настолько же рутинным, насколько и пренебрежительным: многие постструктуралисты считают теорию «литяза» недостойной своей «когниции», а в ряде случаев даже устаревшей и избыточной дисциплиной. Между тем, именно благодаря существованию литературного языка эти многие умеют читать, писать и понимать собеседника. Эволюция литературных норм протекает беспрерывно, как и сама жизнь, но, к сожалению, вне ведения большинства мистиков, представляющих себе язык пёстрым пазлом из нестареющих «концептов».

В предыдущих параграфах я уже сравнивал литературные языки Европы с макробионтами (долгожителями), надолго переживающих своих пользователей. Но даже если макробионтизм не является поводом для их изучения (хотя внимание человека всегда приковывали виды, живущие дольше его самого), то это должен сделать объём: к примеру, общий словарный фонд немецкого литературного языка составляет от 5 до 10 млн слов [Schlaefer, 2009, S. 31]. Данное множество образует так называемый рецептивный состав немецкого языка, т. е. все те слова, которые в принципе существуют на планете с пометой «немецкий». Здесь и терминологические композиты-скороговорки из специальных областей (*Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz*: «*закон о маркировке говядины*»), редко используемые по причине своей громоздкости, и авторские окказионализмы вроде «*das monetäre Grab*» (буквально: «*стройка, в которой «зарыты» миллиарды*»). Вот такая «слоновость» одного из современных литературных языков вряд ли оставит кого-либо равнодушным, ведь именно она и определяет то, что мы понимаем под «богатством языка» (см. об этом также §9).

На первый взгляд, теория литературного языка и средовый подход имеют мало общего, однако это не так. Подчеркну, что задача данного параграфа состоит не столько в том, чтобы перечислить преимущества изучения литературных языков в русле средового подхода, сколько в иллюстрации связи среды и литературного языка.

Их главной общей чертой сегодня выступает *искусственность*: среда и литературный язык созданы искусственным образом, хотя и для разных целей. Тем не менее, в определённой точке развития литературный язык взял на себя функцию «цемента» среды, о которой шла речь в предыдущем параграфе, реализуя два важнейших своих качества (признака) – *общераспространённость и наддиалектность*. Человек на Севере должен был понимать человека на Юге определённой страны или области, для чего и потребовалось создание общедоступной и понятной каждому знаковой системы-надстройки. В ряде случаев такую систему могут заменять импортированные языки (металекты) или же образовывать третий «слой» языковой материи: диалект[1] → местный литературный язык[2] → металект[3] (см. далее об экзоглоссной языковой ситуации).

Искусственность – это то качество литературного языка, о котором исследователи обычно умалчивают, останавливаясь лишь на канонических свойствах, ср.: обработанность (селективность), полифункциональность (поливалентность), тенденция к регламентации, гомогенность, наддиалектность [Филичева, 1992, с. 18–22]. Между тем, данное качество ставит литературный в один ряд с искусственными и международными языками (пазиязыками), работающими по принципу *упрощения взаимодействия*, т. е. фактически для скрепления имеющейся или создания новой среды (к примеру, глобализированной), ср. определение международного языка, данное Э.Д. и А.Д. Дрезенами: «*Под международным понимается искусственный язык с чрезвычайно упрощенной грамматикой и интернационализированным словарем, составляемый с целью облегчения устного и письменного общения разноязычных народов*» [Дрезены, 1929–1939, с. 92]. Данная трактовка созвучна многим экспериментальным идеям интерлингвистики, насчитывающей, по оценке основателя эсперанто Л. Заменгофа, более 150 проектов лишь до появления самого эсперанто [Кузнецов, 1991, с. 25], и перекликается с понятием «вспомогательный (плановый) язык» как «искусственно со-

зданный язык интернационального плана» в дефиниции Д. Бланке, продолжателя интерлингвистических идей Е. Вюстера и О. Есперсена [Blanke, 1985, S. 175]. Искусственность языков фактически противопоставлена их естественному происхождению, а применительно к среде – равнозначна замене естественного (дописьменного) языка общедоступным литературным. Генетически они могут быть родственны друг другу (как нижние диалекты Германии верхненемецкому), однако всегда функционально неравновесны: литературный язык имеет, как правило, бóльшую коммуникативную мощность, т. е. используется бóльшим количеством говорящих и в бóльшем количестве коммуникативных сфер.

Сегодня язык стал настолько значимым атрибутом и идентификатором среды, что её границы зачастую определяются границами распространения самого языка. Границы многонациональных государств автоматически совпадают с областью действия литературных норм. Расширение сред, прежде всего, происходит за счёт языка и его важнейшей функции цементирования среды, отсюда и название «коммуникативные среды» [ср. Виноградов и др., 2008]. Именно этим языковым преимуществом и пользуются интерлингвисты, создавая искусственные языки, позволяющие преодолевать языковой барьер и национальные границы.

Посреднический характер литературных норм привёл на определённом отрезке развития литературных языков к тождеству с национальными языками и появлению в лингвистике составного термина «*национальный литературный язык*» [ср.: Виноградов, 1978, с. 288–297]. Действительно, в определении нации в ряде случаев лежит введённое ещё Клисфеном в 6 в. до н. э. понятие *ius linguae* (лат. *право языка*), существующее наряду с *ius soli* (правом территории) и *ius sanguinis* (правом крови). Самоидентификация средствами языка до сих пор является несущей основой нации. Однако литературный язык на этом не остановился. Понимая скрепляющий потенциал языка, интерлингвисты всего мира упорно продолжают борьбу за их коллективное детище – общий мировой язык, лишённый атрибута «национальный». Как справедливо замечает Е. фон Валь, «*колонизаторское прошлое мира, в особенности Европы, недвусмысленно показало, что международным языком уже никогда не будет определённый национальный язык*» [von Wahl, 2008,

S. 22]. В.М. Алпатов со ссылкой на Л.Г. Башинджагяна[111] пишет, что в 1920-е гг. в Институте языка и мышления АН СССР обсуждали идею создания экспертной группы во главе с академиком Н.Я. Марром для установления теоретических норм будущего общечеловеческого языка. В своём выступлении на XVI съезде ВКП(б) И.В. Сталин говорил: «*В период победы социализма в мировом масштабе, когда социализм окрепнет и войдет в быт, национальные языки неминуемо должны слиться в один общий язык, который, конечно, не будет ни великорусским, ни немецким, а чем-то новым*» [Алпатов, 2004, с. 23].

Таким образом, искусственность заложена в основание общего будущего языка, который, вне всяких сомнений, должен быть литературным. Сегодня к искусственности добавилось другое значимое качество литературных языков – *апостериорность* (*a posteriori* – лат. «поздний»). Апостериорными традиционно считаются искусственные языки, созданные с целью структурного усовершенствования естественных языков [Дуличенко, 1990, с. 9]. Однако апостериорность давно вышла за рамки лабораторного лингвопроектирования. Сегодня в острой конкуренции за право называться «мировым»[112] побеждает тот язык, пользователи которого сами отбирают в него всё самое нужное из других языков. Принцип структурного обогащения, своего рода паразитирования на системах других языков, лёг в основу жёсткого отбора конкурентов на статус общего языка и значительно раздвинул рамки апостериорности. Теперь апостериорность распространяется и на заимствование (в том числе псевдозаимствование), если целью последнего является копирование преимущества языка-донора для его продуктивной реализации (главным образом путём деривации) в системе языка-реципиента [Кобенко, 2016, с. 32]. Существует мнение, что таким апостериорным языком стал – по меньшей мере в Европе – международный английский, который «*вобрал в себя особенности ряда языковых систем*[113] *и помогает носителям многих других европейских языков обнаруживать в нём что-то своё*» [Ohnheiser et al., 1999, с. 300].

---

[111] Башинджагян Л.Г. Институт языка и мышления имени Н.Я.Марра // Вестник АН СССР, 1937. № 11. С. 258.

[112] См. подробнее: Wendt H.F. Fischer Lexikon Sprache. Frankfurt am Main, 1987. S. 347.

[113] В. Шэфер указывает на то, что английский только потому стал международным языком, что в его составе около 60% заимствований, доступных и понятных носителям других (европейских) языков. При этом собственные слова английского языка находятся в меньшинстве [Schäfer, 2002, с. 78].

Если искусственность позволяет литературному языку подстраиваться практически под любые административно-территориальные границы, то апостериорность призвана делать данную подстройку максимально быстрой и отлаженной. Поразительно, но оба данных качества литературного языка решают исключительно средовые задачи: обеспечения взаимодействия всех обитателей среды («приобщение к культуре»), контроля популяции (законодательные практики), продолжения искусственного отбора (неумение писать сегодня вряд ли сойдёт за полезный поведенческий признак), воспроизведения самой среды (литературная традиция, историография) и пр. Мало того, именно благодаря изобретению литературного языка границы среды можно расширять даже при наличии исторически незыблемых национальных границ. На этом основана всякая языковая экспансивность, подразумевающая расширение коммуникативной среды за пределами территории этноса-носителя и эвфемистично обозначаемая «престижностью» (см. о престижности языка §4). В школе и в вузе мы изучаем престижные иностранные языки (английский, немецкий, французский), а не наиболее распространённые [Sharapova, Kobenko, 2015, p. 24–29], причём единственными бенефициарами расширения коммуникативной среды выступают сами её обитатели (англосаксы, немцы, французы)[114].

Но без одного своего качества литературный язык немыслим: без *письменности*. Возможность передачи информации через зрительный канал, когда её нельзя сказать (облечь в звук), выступает важнейшей предпосылкой сохранения средового опыта и самого языка в том числе. Сибиреведы, с которыми мне посчастливилось работать, объясняют младописьменную традицию миноритарных языковых форм (изолектов) алтайской семьи тем, что поводов для создания письменности в их истории, в целом, было немного. Как правило, это начертания в виде эпитафий на надгробных камнях могильных курганов (сопок) как способ информирования последующих поколений, живущих на данной терри-

[114] В стремительно прогрессирующем снижении статуса немецкого языка в России, азиатской части континента и, как ни странно, в самой ФРГ, ставшем предметом ожесточённых дебатов на международном уровне, виноватыми следует считать самих немцев, признающих главенство английского языка у себя дома и автоматически во всём мире, включая Россию. Это выражается в том, что заезжие «бюргеры» взяли в привычку говорить в России только на английском и советуют русским изучать сначала его, а только потом немецкий, что и привело к безудержному падению престижа немецкого языка, сокращению нагрузки на его преподавание в российской системе образования вплоть до упразднения его из образовательных программ и безработице среди германистов.

тории, о значимости захороненных предков: «*Здесь лежит батыр N, сын O*» и т. п. Как убеждает нас пример, письменность решает здесь важную трансгуманистическую задачу, помогая древним культурным обычаям преодолевать ригористичное геологическое время. И хотя зрительный канал передачи языка функционирует куда медленнее звукового, именно изобретение письменности помогло объединить в одну среду живущих людей (синхронно), а также все поколения предков и их потомков (диахронно), гораздо успешнее звучащей речи. Письменность доказала свою эффективность миллионами написанных и прочитанных томов рукописей, пропагандистских листовок и эпистол, позволив намного расширить горизонт средового влияния вопреки старосветским представлениям о возможности преодолении языкового барьера лишь привычным устным путём (традиция толмачества). В частности, поэтому главными признаками образованности во все времена считались умения читать и писать, т. е. владение элементарной *грамотой*.

Непреодолимую и весьма точную границу между «устностью» и письменностью (англ. *orality vs. literacy*) проводит американский педагог В. Онг, сегрегируя их не только по временному признаку («*oral past*» – «*устное прошлое*»), но и в манере строгого наставника – по культурному (фактически по принадлежности к среде): «*'Civilized' peoples have long contrasted themselves with 'primitive' or 'savage' peoples, not only in drawing-room conversation or at cocktail parties but also in sophisticated historical works and anthropological studies. The terms 'primitive' and 'savage', not to mention 'inferior', are weighted terms. No one wants to be called primitive or savage, and it is comforting to apply these terms contrastively to other people to show what we are not. The terms are somewhat like the term '**illiterate**': they identify an earlier state of affairs negatively, by noting a lack or deficiency* (*«Цивилизованные народы» уже давно противопоставляют себя «примитивным» или «дикарям» не только в светских беседах или на коктейльных вечеринках, но и в сложнейших исторических трудах и антропологических исследованиях. Слова «примитивный» и «дикарь», совсем не говоря о слове «неполноценный», тщательно взвешиваются. Никто не хочет, чтобы его называли примитивным или дикарём, поэтому гораздо приятнее применять эти термины по отношению к другим людям, чтобы показать, кем мы*

*не являемся. В этих словах заключено то же, что и в слове «**неграмотный**»: ими негативно отзываются о более ранней стадии развития, отмечая отсутствие чего-то или его дефицит*)» [Ong, 2013, p. 5, 170].

Тем самым, письменность стала той поворотной вехой, которая с беспощадностью хирургического скальпеля «отсекла» *homo ferus* от *homo litteratus*, отрицательное от положительного, отжившее от грядущего, животное от человека. Так, к человеческой среде и к набору признаков того, что в ней понимается под «человеком», добавился ещё один значимый ингредиент – *владение нормами литературного языка*.

И, как и следовало ожидать, знак, который наградили практически неограниченной властью над языком, со временем подчинил себе не только сам язык, но и логику, определяющую правила и принципы языкового функционирования. Теперь от знака зависит не только смысл высказывания, но и судьба человека, если выражаться утрированно. И дело тут не столько в постановке судьбоносной запятой на определённом отрезке хрестоматийного предложения «*казнить нельзя помиловать*», сколько в буквальном смысле в хождении по мукам всех тех, кому в паспорте представители ответственных органов написали не ту букву, превратив предъявителя в совершенно другого человека. Бесспорное лидерство в судебной практике принадлежит седьмой и самой молодой букве русского алфавита с низкой частотностью (ниже 0,5 %, т. е. с использованием менее одного раза на 200 знаков)[115], но невероятной норовистостью: букве Ё. Ей вверено решать, *передохн**Ё**т город ночью или передохн**Е**т*, *Корол**Ё**ва Елизавета ли родом из Пензы или корол**Е**ва Елизавета, покраснело ли н**Ё**бо или* – страшно подумать – *н**Е**бо*.

В период разгорячённых дебатов о реформе немецкого правописания 1996 г., окончательно вступившего в силу в третьем варианте лишь спустя 10 лет, мой *Doktorvater* профессор Лутц Гётце, которому посвящён данный труд, подверг резкой критике инициативу некоторых германистов упразднить правописание имён существительных в немецком литературном языке с заглавной буквы, аргументируя это тем, что в этом случае немецкий «захлебнётся» в двусмысленности (*Ambiguität*), ибо полностью исчезнет разница между «*der Gefangene floh*» (пленный бежал) и «*der gefangene Floh*» (пойманная блоха), между «*hier kann man*

[115] См. Приложение к Письму Министерства образования и науки РФ от 03 мая 2007 г. № АФ–159/03.

Weise reden hören» (здесь можно услышать речь мудрецов) и «*hier kann man weise Reden hören*» (здесь можно услышать мудрые речи), между «*ich habe in Moskau liebe Genossen*» (у меня в Москве дорогие товарищи) и «*ich habe in Moskau Liebe genossen*» (в Москве я наслаждался любовью)[116]. В личных беседах с учениками известный германист подчёркивал, что «*филологу нужно всегда иметь под рукой такие примеры, чтобы не стать жертвой недальновидной перекройки литературных традиций политиками*». Из приведённых примеров можно видеть, какую невероятную власть над языком имеют письменные нормы.

Слияние письменности с языком и постепенное усложнение литературной традиции (параллельно с агрегацией самой гердеровской среды) привело к тому, что в структуре литературного языка (на примере немецкого) *выделяется самостоятельный (орфо)графический уровень* (1), относящийся к интралингвистическим, сразу после «ядра языка» (PMS) [Debus, 1980, с. 188] (см. рис. 3).

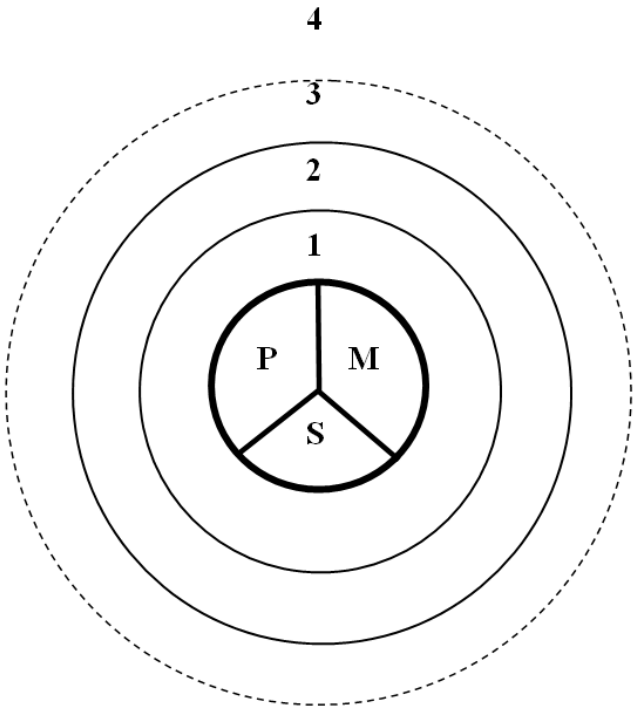

Рис. 3. Уровневая модель системы немецкого литературного языка по Ф. Дебусу (1980)

[116] Если поколению отправителей *sms* всё же удастся упразднить написание имён собственных с заглавной буквы в русском языке, то мы получим не менее потешные случаи двусмысленности: ср.: «*туалетная бумага из набережных челнов*», «*во всём виноваты гены*» и т. п.

Интралингвистические уровни (1–3, до пунктирной линии) конституируют систему языка по мере её распространения (усложнения) от ядра до языковой прагматики, *экстралингвистические* (4, за пунктиром) – её средовое окружение (см. также §4). Выделение областей интра- и экстралингвистики коррелирует с терминологическими пандана-ми антиномии «*центр vs. периферия*» (см. также §9), используемой лексикологами для описания языковых систем сообразно представлениям об их сферичности [ср.: Schippan, 1992, с. 11]. Итак, в центре «луковицы» литературного языка согласно Ф. Дебусу находится системообразующее ядро, представленное «спайкой» фонетического и морфосинтаксического уровней (P – фонетический; M – морфологический; S – синтаксический) и составляющее межзнаковую сферу, традиционно обозначаемую грамматикой [Debus, 1980, с. 188]. К интралингвистическим относятся: (орфо)графический (1), лексический (лексико-семантический) уровень, эксплицирующий связь между знаками и внеязыковой реальностью (2), и прагматический, связывающий знаки и их пользователей (3). Цифрой 4 обозначено экстралингвистическое пространство («питательный раствор» среды), в котором существует литературный язык: культура (в т. ч. речевая), языковые контакты, языковая политика и другие внеязыковые факторы [Кобенко, 2014, с. 78].

Однако языковая природа неоднозначна. Ни количество уровней, подобно кольцам Сатурна опоясывающих ядерную структуру литературного языка, ни его признаки не характеризуются устойчивостью. Будучи неподвластной прямому вмешательству человека, *система литературного языка является исторически самоорганизующейся*, так как призвана доподлинно, подобно шиллеровскому зеркалу, отражать любые изменения в человеческой среде. Доказательства находим у классиков теории литературного языка: «*Литературный язык прежде всего историческая категория, признаки которой не могут быть одинаковы на всём протяжении развития*» [Ярцева, 2004, с. 5]; «*в разные периоды истории немецкого литературного языка соотношение между дифференциальными признаками не является стабильным, а степень и формы обработанности, наддиалектности, полифункциональности – неодинаковы*» [Гухман, Семенюк, 1983, с. 6]; «*язык, его структура изменяются путём постепенного отмирания элементов старого качества и путём*

накопления элементов нового качества; совершенно очевидно, что язык в каждый период своего развития обладает особыми качественными признаками, особой структурой, что даёт право говорить об определённом периоде его развития» [Аракин, 2003, с. 24].

Таким образом, детерминантой языкового развития (см. об этом §10) выступает та или иная общественная формация, проще говоря – определённая среда, в «белковом бульоне» которой у литературного языка и появляются те или иные дифференциальные признаки. Такие периоды в истории литературного языка принято называть *формациями*, *стадиями или историолектами*. Формациями отсчитывается возраст литературного языка, как астрономическими годами – возраст человека, однако продолжительность формаций у всех литературных языков разная. В немецком это «штандартные» трёхсотлетние отрезки, мерно уложенные в канву его любопытной истории: 750–1050 гг. – древневерхненемецкий, 1050–1350 гг. – средневерхненемецкий, 1350–1650 гг. – ранненововерхненемецкий, с 1650 г. – нововерхненемецкий. В 2000 г. Й.А. Бэр предпринял робкую попытку обосновать «поздненововерхненемецкий» период (*Spätneuhochdeutsch, Postneuhochdeutsch*) в истории немецкого литературного языка с 1950 года, что вполне логично, учитывая всю громаду произошедших изменений в немецком языке лишь только после 1945 г.[117] и гигантскую разницу между языком Гёте, писавшего в 1811 г. на нововерхненемецком: «*In solchem Drang und Verwirrung konnte ich doch nicht unterlassen, Friedriken noch einmal zu sehn. Es waren peinliche Tage, deren Erinnerung mir nicht geblieben ist. Als ich ihr die Hand noch vom Pferde reichte, standen ihr die Tränen in den Augen, und mir war sehr übel zu Mute. Nun ritt ich auf dem Fußpfade gegen Drusenheim, und da überfiel mich eine der sonderbarsten Ahndungen*» [Goethe, 1998, S. 537], и языком современной немецкой медийной прозы, тоже подпадающим под нововерхненемецкий период, ср.: «*An seiner Schule gab es zum Glück noch keine Amokdrohung. Aber auch seine Schüler werden über Isharegossip gemobbt. Rektor Schönberger hat sich an die Schülersprecher gewandt. Sie sollten selbst etwas unternehmen, um gemobbten Schulkameraden zu helfen*»[118]. Однако эта светлая мысль встретила лишь сдержанные

[117] См. об этом подробнее: Кобенко Ю.В. Языковая ситуация в ФРГ: американизация и экзоглоссные тенденции. Томск, 2014. 360 с.

[118] http://www.dw.com/downloads/27251605/video-thema20110406-cybermobbingmanuskript.pdf.

аплодисменты германистов в ФРГ и за её пределами. Выделение нового периода, предположительно, после 1918 г.[119], когда политическая доминантность США стала настолько неотвратимой, что заимствование американизмов в британский английский уже давно никого не удивляет [Viereck, 1988, с. 940], не помешало бы и английскому литературному языку, начало последней формации которого (так называемого «нового периода», или «ранненовоанглийского») датируется концом XV в. [ср.: Аракин, 2003, с. 25; Берков, 2001, с. 9–10].

Критически осмысляя практики периодизации истории русского литературного языка, Г.О. Винокур открыто указывает на связь текущей формации с определённой исторической разновидностью среды: «*В том историческом процессе, который представляет собой существование языка, должны быть выделены известные стадии, на каждой из которых изучаемый язык представляет собой систему, отличную от предыдущей и последующей. Каждая такая система должна быть изучена как реальное средство общения соответствующего времени и соответствующей* ***среды****, т. е. в исчерпывающей полноте тех внутренних связей и отношений, которые в этой системе заключены. Язык есть часть или отдельный член общей культурной истории и, следовательно, системы действуют, рождаются и разлагаются не в безвоздушном пространстве, а в определенной общественной* ***среде****, жизнь которой регулируется общими законами исторического процесса*» [Винокур, 1959, с. 215].

Длительные поиски опорных точек для выделения формаций литературных языков привели к широкомасштабной дискуссии в рядах, в первую очередь, западноевропейских лингвистов вокруг термина «*стандарт*», введённого У. Стюартом для обозначения нормированного родного языка (*standard language*) в пятичленной классификации языков [Швейцер, Никольский, 1978, с. 88]. Итогом многословных споров стал со стороны теоретиков возврат к испытанному прочностью инвентарю усреднённых признаков литературного [ср.: Müller, 2002, S. 425–435; Löffler, 2005, S. 7–28] или национального языка [ср.: Schmidlin, 2011, S. 289–292], у практиков – профессиональный компромисс, дающий возможность использовать термин «*Standardsprache*» в качестве

[119] 1918 год ознаменовал победу Антанты с лидирующей ролью США в первой мировой войне.

синонима «*Hochdeutsch*» [ср.: Berend, 2009, S. 215–234] и тем самым полностью нивелирующий социально-историческую обусловленность литературного языка. Малопригодной для поиска истины можно признать более позднюю трактовку «стандарта» «специалистами по компетенциям» из той же Западной Европы, расчленившими литературный язык на уровни владения (*Common European Framework of Reference, CEFR*) в рамках программы получения европейского гражданства (*Language Learning for European Citizenship*)[120].

Близкую к аксиологической интерпретации языкового стандарта предлагает В.М. Живов, соотносящий его с литературным каноном как «*важнейшей социокультурной институцией меритократического*[121] *общества*», не отрицая, однако, при этом возможность широкой (диахронической) трактовки понятия «литературный» [Живов, 2005].

В конце тупика, в который нас заводит термин «стандарт», вместо методологической основы периодизации литературного языка находим «*литературный стандарт выражения*», обрекающий нас на существенное укрупнение подхода за счёт приобщения к поиску экстралингвистической казуистики. Поводом для этого может послужить переосмысление понятия «*стандарт*» с позиций контактологии: оказывается, смену формаций литературного языка нередко сопровождает явление инвазивного заимствования (см. об этом также §4, §5) из определённого языка-донора, чьи средства полагаются пользователями языка-реципиента престижными. Это побудило меня предложить в 2014 г. термин «*язык-стандарт*», объединив в нём содержание устоявшихся в социолингвистике понятий «*язык-реципиент*» и «*металект*»[122] для описания регулярно повторяющихся в истории отдельного языка экзоглоссных языковых ситуаций [Кобенко, 2014].

Так, историю немецкого литературного языка можно представить как последовательную смену периодов *латинизации* (с эпохами Золотого и Серебряного латинизма; нем. *Goldene / Silberne Latinität*) [Ax, 2006, S. 111–152], *галлизации* (с тремя волнами заимствования галлицизмов) [Меремкулова, 2010, с. 120], *англизации* со всеми её инвазиями [Viereck,

[120] http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Framework_EN.pdf.

[121] Меритократия (лат. meritus – «достойный», греч. κράτος – «власть») – власть, основанная на заслугах. Термин введён в употребление английским социологом М. Янгом в 1958 г.

[122] См. о понятии «металект» подробнее: Виноградов В.А. Языковая ситуация // Лингвистический энциклопедический словарь / Под ред. В.Н. Ярцевой. 2-е репр. изд. М., 1990. С. 616–617.

1988, S. 938–948], *славянизации / руссификации* (в особенности языка ГДР) [Домашнев, 1983, с. 38–56; Schippan, 1992, S. 266; Pirojkov, 2002, S. 31–34, 61–74], т. е. фактически смену языков-стандартов. Следовательно, *отправной точкой для выделения периодов в истории того или иного литературного языка следует считать отдельную* ***языковую ситуацию*** *как отражение текущей конфигурации составляющих компонентов определённой социальной и культурно-исторической среды*, подтверждение чему находим в работах целой плеяды выдающихся исследователей литературных языков [ср.: Жирмунский, 1948; Гухман, Семенюк, 1983; Горшков, 1984; Мещерский, 1985; Филичева, 1992; Москальская, 2003; Камчатнов, 2008; и мн. др.]. *Описание функциональных парадигм любых литературных языков на различных отрезках диахронии строится неизменно в зависимости от текущих социальных процессов и конкретной историко-культурной ситуации*.

Такой ракурс рассмотрения природы литературного языка роднит средовый подход с идеями социальной (культурной) антропологии и делает язык (в том числе литературный) вторичным по отношению к самой среде, поэтому, как отмечает британский антрополог Б. Малиновский, «*лингвистика в будущем может превратиться в изучение языка в культурном контексте*» [Малиновский, 2005, с. 17].

Первичность среды по отношению к языку прослеживается и в предложенной мною трихотомии развития немецкого литературного языка «*экзоглоссия → диглоссия → полиглоссия*», где «*экзоглоссия*» – языковая ситуация с импортированным языком-стандартом в качестве устойчивого её компонента (латынью, французским, английским, русским), «*диглоссия*» – функционально-стилистическая стратификация автохтонных и импортированных единиц в системе языка-реципиента, «*полиглоссия*» – ресурсная гетерогенность (гибридность) немецкого литературного языка (наличие в его составе единиц, заимствованных из различных языков-стандартов) [Кобенко, 2014, с. 259]. Одним из выражений пологлоссии выступает *алломорфия* (нем. *Allomorphie*) как нарушение автоматизма формы и функции (1:1), т. е. когда одной функции подчиняются несколько форм или наоборот [Nübling et al., 2006, с. 50–51], ср. различное прочтение буквы «*c*» в англоамериканизмах, заимствованных в немецкий язык: **[k]** (***C****omedy, Elastic*); **[s]** (***C****ity, Re****c****eption*).

Становление системы литературного языка – стадиальный процесс, изучение которого предполагает признание зависимости языка от определённой (ситуативной) средовой анизотропии. Как и эволюция биологических систем, являющая нам лишь стадии («фотокарточки») развития живых организмов, – «завершённых», по заверению Р. Докинза, и «незавершённых» одновременно, – во всём их многообразии, эволюция литературных языков также предполагает отмирание старых и появление новых формаций, а с ними и способов периодизации истории литературных языков. Лингвисту же остаётся, словами В. Клемперера, «*Zeugnis ablegen bis zum letzten* (*свидетельствовать до последнего*)», преследуя замысловатый курс языковой эволюции.

Признавая неизбежность укрупнённого (системного) подхода, учитывающего обусловленность динамики любого объекта внешними и внутренними факторами – целостностью системы и её внешней средой, А.А. Поликарпов пишет о становлении лексической системы языка следующее: «*Термин „становление“ используется нами для обозначения процессов органичного, уравновешивающего взаимодействия между сторонами объекта, сложного целого, ведущие к установлению равновесных режимов взаимодействия в нём и его как целого со* ***средой*** *его существования. Ставших систем в природе нет. Есть становящиеся, т. е. находящиеся в определённой фазе своего развития в определённых условиях. Процесс развития-приспособления объекта как целого к* ***среде*** *своего существования и частей объекта друг к другу безостановочен, так же, как бесконечна изменчивость того мира, в котором существует любой объект*» [Поликарпов, 1998].

Таким образом, системное описание сложной и многоаспектной эволюции литературных языков, протекающей в матрице внутрисредовых процессов, невозможно без учёта роли и состава среды, в которой формируется литературный идиом, в чём видится ещё одно преимущество имплементации средового подхода в языкознании.

§9. «ФИЗИКА» ЯЗЫКА

Из рассуждений в §4 может показаться, что «физикой» языка следует считать фонетику и графику, выступающих материальным выражением языковых средств. На самом же деле «физика» языка – это лексика, в то время как фонетика и графика – лишь способы её выражения: писать и произносить нужно в конечном итоге слова, а не отдельные буквы и звуки, хотя, вероятно, не все пишущие в прописях ещё об этом догадываются. Можно иметь великолепное произношение и рисовать буквы с высокохудожественными завитками, но без знания слов нет знания языка (в том числе иностранного[123]). Если изъять из него слова, то вслед за ними исчезнут сначала мышление, а потом история (а с ней и биография), так как станет нечем думать и «*ничего нельзя будет сообщить о прошлом и будущем*» [Донских, 1988, с. 124].

Естественнонаучная метафора использована мною в названии параграфа неслучайно. Действительно, если мы будем искать структуру в языке, наиболее тонко передающую, так сказать, «физическое» устройство (анизотропию) той или иной среды, «физику» внутрисредовых отношений, то лексика будет вне конкуренции. Сквозь призму средового подхода «физические» свойства слова можно обобщённо охарактеризовать так: ***слова являются носителями и средством передачи информации о среде и её особенностях, своего рода «тканью» самой среды***.

---

[123] Весьма поучительную и отчасти анекдотическую историю поведал мой давний знакомый, патриарх томской энергетики, профессор Василий Яковлевич Ушаков, с которым у нас общий профессорский кабинет. Будучи молодым, но уже именитым специалистом, он впервые выехал за рубеж после падения Железного занавеса для участия в крупном европейском форуме, посвящённом вопросам производства энергии. В новинку было всё: от ношения «беджа» до вавилонского смешения языков. Неожиданно для В.Я. Ушакова его по имени узнал какой-то японец и, обезумев от радости, принялся что-то восторженно говорить на английском языке. Знания английского, по признанию самого Василия Яковлевича, у «технарей» того времени были весьма посредственные: «*Все могли кое-как читать и переводить «тысячи»* (количество знаков для измерения научно-технических текстов). *Вот японец трещит, а я лишь молчу и вращаю глазами*». Заметив отсутствие реакции со стороны В.Я. Ушакова, японец переключился сначала на немецкий, затем на французский, но советский инженер не мог похвастаться такими знаниями языков. Скоро японца настигло разочарование, и он корректно удалился, оставив молодого Ушакова наедине с необходимостью учить иностранные языки. Мораль истории словами самого Василия Яковлевича такова: «*Если бы встретились два барбоса, японский и русский, то они гораздо быстрее объяснили бы друг другу суть дела, используя виляние хвостами. У нас же хвост отпал, но взамен мы получили только корки дипломов о высшем образовании. Язык – не самое удачное изобретение человека, однако знание иностранных языков отворяет двери в мир больших возможностей*».

На данные свойства слов указывает и Р. Докинз в своих рассуждениях о «вирусах мозга»: «*Конечно, мы не вставляем дискеты в голову собеседнику, но обмениваемся фразами (благодаря таким устройствам ввода, как глаза и уши)*» [Докинз, 2005, с. 5].

О «физических» свойствах слова люди пишут давно. Дж.Г. Байрон метко выразил их в своём изречении «*слово есть вещь*». «*Слово лечит и калечит*», проповедовал С. Гаутама, более известный как Будда; словом также наказывают и преследуют: пока беглый заключенный прокладывает себе путь через тайгу, «слово о его побеге» многократно опережает его по электронной связи, чтобы стать залогом его поимки.

Иметь слова-дискеты, организованные в картотечную систему с высоким репликативным потенциалом в среде, – не только практично, но выгодно: слова позволяют среди прочего обойти такой параметр, как точность, сохраняя при этом надёжность передаваемых данных, а значит, не затрудняя механизм репликации. К примеру, модальные глаголы в немецком языке могут передавать разные степени уверенности говорящего в достоверности сообщаемой информации, ср.:

er ***muss*** *bald kommen* (я уверен, что он скоро придёт);

er ***müsste*** *bald kommen* (очень вероятно, что он скоро придёт);

er ***dürfte*** *bald kommen* (вероятно, он скоро придёт);

er ***kann*** *bald kommen* (возможно, он скоро придёт);

er ***könnte*** *bald kommen* (гипотетически он может скоро прийти);

er ***mag*** *bald kommen* (я допускаю, что он может скоро прийти).

Регистр вероятностной модальности в немецком языке удобен своей многоуровневой функциональностью: его средства обладают выраженными дистинктивными характеристиками (их сложно спутать по звучанию) и позволяют экономить усилия говорящего, дискретно реализуя проблематическую модальность в законной вербоцентрической позиции *verbum finitum*. Этим язык выгодно и отличается от математической логарифмики, что создаёт дополнительные возможности для средовой коммуникации при отсутствии точных данных.

Можно видеть, как тесно переплетены «физические» свойства лексики с функциями самого языка и, прежде всего, с трансгуманистической, снабжающей человека добавочными преимуществами перед «барбосами, виляющими хвостами».

В тесной связи «физика» языка состоит с фонологией и фоносемантикой. О «физических» свойствах слов человек вспоминает зачастую, выбирая имя ребёнку. Ежевика или Любава, Октавия или Иветта – нарекающий исходит из плавтовского *nomen est omen*, понимая, что «корабль поплывёт так, как его назовёшь». Человек действует всю свою жизнь от определённого имени, поэтому родителям хочется, чтобы у девочек оно было исключительно нежным и ласковым (и даже заменяло ласкательную форму), а у мальчиков звучало как разгром Иерусалима войском Навуходоносора. Традиции антропонимики зарождаются в определённой среде или её разновидности и, как правило, передаются потомству. Кто-то культивирует в началах имён, отчеств и даже фамилий чередование определённых букв, кто-то апеллятивацию, называя трёх дочерей Верой, Надеждой и Любовью (в западной традиции – Глорией, Грацией и Витой), а кто-то воскрешает «дух предков», давая новорожденным имена отличившихся при жизни пращуров.

С точки зрения номинативной функции, слова языка суть имена. Звучание слов есть звучание языка, которым говорящий описывает средовую реальность. «Лающий немецкий», «мелодичный русский», «лягушачий французский» – звуковой облик языка носит в человеческой среде конкретные, хотя и ненаучные эпитеты. Сегодня мы знаем, что звучание языков весьма отдалённо связано с функциональными возможностями используемого в отдельной среде речевого репертуара, обозначаемого в социолингвистике «социально-коммуникативной системой» [Швейцер, Никольский, 1978, с. 72].

Самое время вспомнить о демаркационной функции языка, благодаря которой и существует современное языковое многообразие. Языковой инвентарь сред неодинаков: в одном языке аффриката «*ч*» всегда твёрдая, а в другом «*ц*» всегда мягкая. Но различия идут гораздо дальше области фонологии: в финском языке есть слово «*kalsarikännit*», означающее <*выпивать дома в нижнем белье, не планируя никуда уходить*>; в немецком существует глагол «*hochschlafen*», который можно перевести приблизительно как <*получить продвижение по службе через интимную связь с руководством*>. Разница между языками определяется действующим набором средовых ингредиентов, которые стремятся выразиться в языке максимально точно. Их особый сплав внутри опреде-

лённой среды и составляет гумбольдтовскую самобытность языка и в конечном счёте разницу между языками. В этом смысле уникальность отдельного языкового инвентаря (лексики) имеет тенденцию к абсолютной, превращая практически все слова в реалионимы. Если сопоставить даже такие сходные явления, как парадигмы личных местоимений у двух родственных языков западногерманской группы – английского и немецкого, то функциональных несовпадений обнаружится больше, чем в таких же парадигмах немецкого и русского языков, которые приходятся друг другу дальними родственниками (см. таб. 1).

Таблица 1

Сравнение функциональных парадигм личных местоимений второго лица единственного числа в русском, немецком и английском языках

Личное местоимение	Может использоваться в функции безличного местоимения	Возможна опция опущения (омиссия)	Гонорaтивное (вежливое) значение	Может писаться с заглавной буквы	Может употребляться во множественном числе / омонимия со вторым лицом множественного числа
ты	+	+	–	+	–
du	+	–	–	+	–
you	+	–	+	–	+

Разница между языками объясняется тем, что их никто никогда не синхронизировал (в отличие от дискет, на которых хранится одна и та же информация). Языковые ризомы ветвились стихийно и лишь в соответствии с «узорами» питающих их сред. Поэтому русское слово «*народ*» нельзя поспешно переводить немецкой единицей «*Volk*». В русском языке понятие народа гораздо уже и применяется исключительно к человеческому населению или к его частям. В немецком слово «*Volk*» обозначает скорее сообщество, группу живых существ, необязательно человеческих, ср.: *junges Volk* (*молодёжь*), *Hühnervolk* (*куры*), *Bienenvolk* (*пчёлы*), *fahrendes Volk* (дословно: *путешествующий народ; труппа (бродячих) актёров*). Семантике же русского слова «*народ*» больше и чаще всего соответствует немецкая единица «*Bevölkerung*», а в разговорном употреблении («*Эй, народ!*») – коллоквиализм «*Leute*».

Разница в средовой «физике» выражается, в первую очередь, в количестве и качестве накопленных и используемых понятий (семантике). Любой ответственный переводчик знает, что главной сложностью перевода является сопоставление расчленённых и нерасчленённых понятий и способов их лексикализации. В одном языке средовый опыт отлил понятие в одном слове, а другому языку требуется десять и более слов, чтобы выразить то же самое (см. об этом также §1).

Учась в аспирантуре Саарского университета под руководством профессора Л. Гётце, я целый семестр посещал лекции по общему языкознанию (*Grundlagen der Sprachwissenschaft*) с группой филологов-первокурсников, среди которых оказался единственным иностранцем. Лектор, невероятно обрадованный «интернациональному кластеру» своей аудитории в моём лице, так и сыпал на радостях примерами из когда-то изучаемого им в школе во времена ГДР русского в качестве иностранного языка. И один из таких его примеров стал поводом для профессиональной полемики: «*Русские не различают между пальцами ног и пальцами рук*». – «*Отнюдь*», возразил я. «*Различают. Просто у нас нет отдельных обозначений для всех возможных пальцев, как в немецком. А это, с Вашего позволения, можно расценивать как преимущество системы русского языка, предпочитающей количеству качество и многофункциональность*». И хотя благодаря своему сдержанному и, на мой взгляд, объективному протесту я навсегда завоевал симпатию однокашников, лектор отомстил мне за подрыв своей академической репутации жирной «тройкой» за письменный зачёт (нем. *Klausur*), чем основательно подорвал веру совсем ещё юных филологов в моей группе в справедливость университетской системы оценок.

Однако у меня найдутся примеры посерьёзнее сравнения пальцев, и их нам, как ни странно, преподносит категория каузации в классе немецких глаголов:

(1) *тонуть*	*ertr**i**nken* (о человеке) *vers**i**nken* (о корабле) *ersaufen, absaufen* (совокупно)
(2) *топить*	*ertr**ä**nken* (живое существо) *vers**e**nken* (корабль) *ers**ä**ufen* (совокупно)

Каузативные ряды немецких глаголов строятся по несложной грамматической схеме, отдалённо напоминающей семантически родственную в русском языке: сильный глагол используется в статальном или ликвидативном значениях и снабжается вспомогательным маркером (сам, *verbum intransitivum*), его слабый пандан имеет интродуктивное значение и всегда транзитивен (кого-то, *verbum transitivum*). Примечательно, что сильные элементы каузативных рядов в немецком языке сохранили в парадигме вариантов корневых морфем фонему [i], унаследованную от ностратического языка (ср.: *ertr**i**nken, vers**i**nken*; при этом [i] встречается даже при спряжении, например, глагола *erlöschen* в форме третьего лица единственного числа настоящего времени: *erl**i**scht*), а слабые унаследовали фонему [e], передаваемую в современном немецком языке, в том числе, и при помощи «ä» (*ertr**ä**nken, vers**e**nken, ers**ä**ufen*). Интересной в этой связи представляется дилемма, связанная с переводом названия повести Н.В. Гоголя «*Майская ночь, или Утопленница*» (1831). Описанная схема немецкой глагольной каузации оставляет нам два варианта перевода названия произведения из цикла рассказов «*Вечера на хуторе близ Диканьки*», т. е. расчленённое понятие: «*die Ertrunkene*» (сама) и «*die Ertränkte*» (кем-то). А. Элиасберг использует первый вариант перевода «*Die Mainacht oder die Ertrunkene*»[124] (1919).

Наличие разветвлённой ризомы лексики в обиходе обозначается «*богатством языка*». Нет никаких сомнений в том, что самыми богатыми на планете являются литературные языки, научившиеся сохранять и преумножать свои лексические «богатства» благодаря изобретению письменности. Сегодня мы знаем, что богатство языка напрямую зависит от количества говорящих. Чем больше языковой коллектив, тем обширнее и богаче язык (тем больше понятий он охватывает). Количество говорящих зачастую повышается за счёт поднятия престижа языка и последующей культурной (политической, экономической) экспансии. Наиболее экспансивные языки (макропосредники) имеют сферу использования, превосходящую исторические границы этносов. Как уже отмечалось ранее, мы изучаем в школе наиболее экспансивные иностранные языки, снабжаемые атрибутом престижности. Поэтому *не человек выбирает иностранный язык, а иностранный язык выбирает человека*.

[124] http://gutenberg.spiegel.de/buch/-3168/4.

Любое богатство, в том числе языковое, – продукт накопительный (кумулятивный), однако лексика не столько результат кумуляции средового опыта, сколько его отражения и передачи, она фактически его полотно, а это делает лексико-семантическую систему не просто «интегративным (*integrative Komponente des Sprachsystems*) компонентом языка» [Schippan, 1992, S. 2], но, в первую очередь, его ***носителем***.

В §5 приведены сомнения в корректности использования термина «носитель» применительно к говорящему. И лишь в §9, соблюдая логику повествования, стало возможным подвести под данные сомнения фундамент: *носителем языка является не говорящий, а лексика* (лексико-семантический уровень языковой системы), составляющая «физику» языковых процессов. (Упреждая возражение грамматистов, к которым я отношусь с большим уважением, поясню: грамматика – это свод правил, в соответствии с которыми строится речевое произведение, но материалом его является неизменно сама лексика.) Говорящего на языке целесообразно обозначать пользователем, ибо носит он отпечаток среды, некий индивидуальный прожиточный минимум языковых средств, которые даже суммарно во всём языковом коллективе синхронно не образуют языковую систему, т. е. значительно меньше её. И речь здесь идёт не о редких словах вроде «брульон» или «схизма», а о потенциале (богатстве) литературного языка, значительно превосходящем возможности каждого из нас (см. об этом также §5, §8).

Индивидуальный «словарный запас», который многие прекращают расширять с момента получения аттестата зрелости, можно сравнить с личным багажом, содержащим лишь полезные и необходимые для индивида ингредиенты среды. Наличествующих в нём слов порой недостаточно, чтобы выразить даже банальную бытовую эмоцию (ср. фразу «*У меня нет слов!*»). Но дело не только в количестве, но и в качестве. Возраст слов в голове человека, а с ним и объём понятий, ничтожен в сравнении с семантической громадой литературного языка. Если бы мозг регистрировал дату попадания в него слов, то мы бы поняли, насколько молод наш «словарный багаж» в сравнении с самим языком. Например, глаголу «делать» в голове пятилетнего ребёнка от силы пять лет (при условии, что мать использовала данный глагол в речи регулярно), а в русском языке – несколько столетий.

В центре словарного состава расположено *лексическое ядро* (нем. *Kernbereich*), в котором сосредоточен базовый словарный фонд – слова, без которых невозможно обойтись в ежедневном общении. Поверх «сердцевины» образовался толстый «нарост» – *дополнительный слой лексики*, отражающий эволюцию лексико-семантического уровня по мере усложнения (агрегации) среды, в которой распространён язык. Вначале лексика обслуживает лишь взаимодействие говорящих внутри этнической среды (ядерный слой), затем с появлением межэтнических контактов в язык приходят новые обозначения, которые на раннем этапе развития языковой системы отлично приспосабливаются к особенностям языкового строя, ср. германизмы «*шумовка*» (*Schaumlöffel*), «*стамеска*» (*Stemmeisen*), которые уже не отличить от автохтонных[125] слов. Применительно к ним, пожалуй, самой актуальной и яркой следует по-прежнему считать метафору Я. Гримма о «*языковом колодце, попав в который, чужое слово так долго обращается в нём, пока не приобретёт его цвет и назло своему происхождению не станет выглядеть как родное* (*Fällt von ungefähr ein fremdes Wort in den Brunnen einer Sprache, so wird es solange darin umgetrieben, bis es ihre Farbe annimmt und seiner fremden Art zum Trotze wie ein heimisches aussieht*[126])». Поэтому дополнительный слой лексики, образующий концентрическое кольцо поверх ядерной структуры, уместно также обозначить адаптированным. В ходе бурного развития технологий и интернационализации многих областей знания в языковой системе появляются *периферийные сферы* (нем. *Fachsprachen*) с высоким содержанием слабоассимилированных заимствований терминологического характера с тенденцией к неоморфизму[127]. Их «лепестки» (см. рис. 4) не образуют отдельные сферы лексики, а накладываются как на оба предшествующих слоя, ибо даже в закрытых профессиональных сообществах люди не говорят только одними терминами, так и друг на друга (как терминосфера возобновляемых источников энергии на терминологию энергетики). Если изменения в центре происходят медленнее всего, то ближе к периферийным слоям про-

[125] По этой же причине я избегаю использовать в работах термин «исконный».
[126] https://www.aphorismen.de/zitat/189675.
[127] Термин «неоморфизм» малоизвестен в языкознании и изредка используется в работах, выполненных на стыке неологии, терминологии и контактной лингвистики, для обозначения (терминологических) неологизмов, акронимов, псевдозаимствований и т. п., образованных по нестандартным словообразовательным моделям, ср.: *Italy – I trust and love you*.

цессы обновления и устаревания (отмирания) лексических единиц максимально ускоряются. Следует отметить, что в немецкой лексикологической традиции все три сферы рассматриваются исключительно в аспекте заимствования, что свидетельствует в пользу экстралингвистической (средовой) обусловленности развития лексического строя, ср. немецкоязычную трихотомию *Erbwortschatz* (автохтонная), *Lehnwortschatz* (адаптированная) и *Fremdwortschatz* (неассимилированная лексика) [Munske, 1988, S. 46–74].

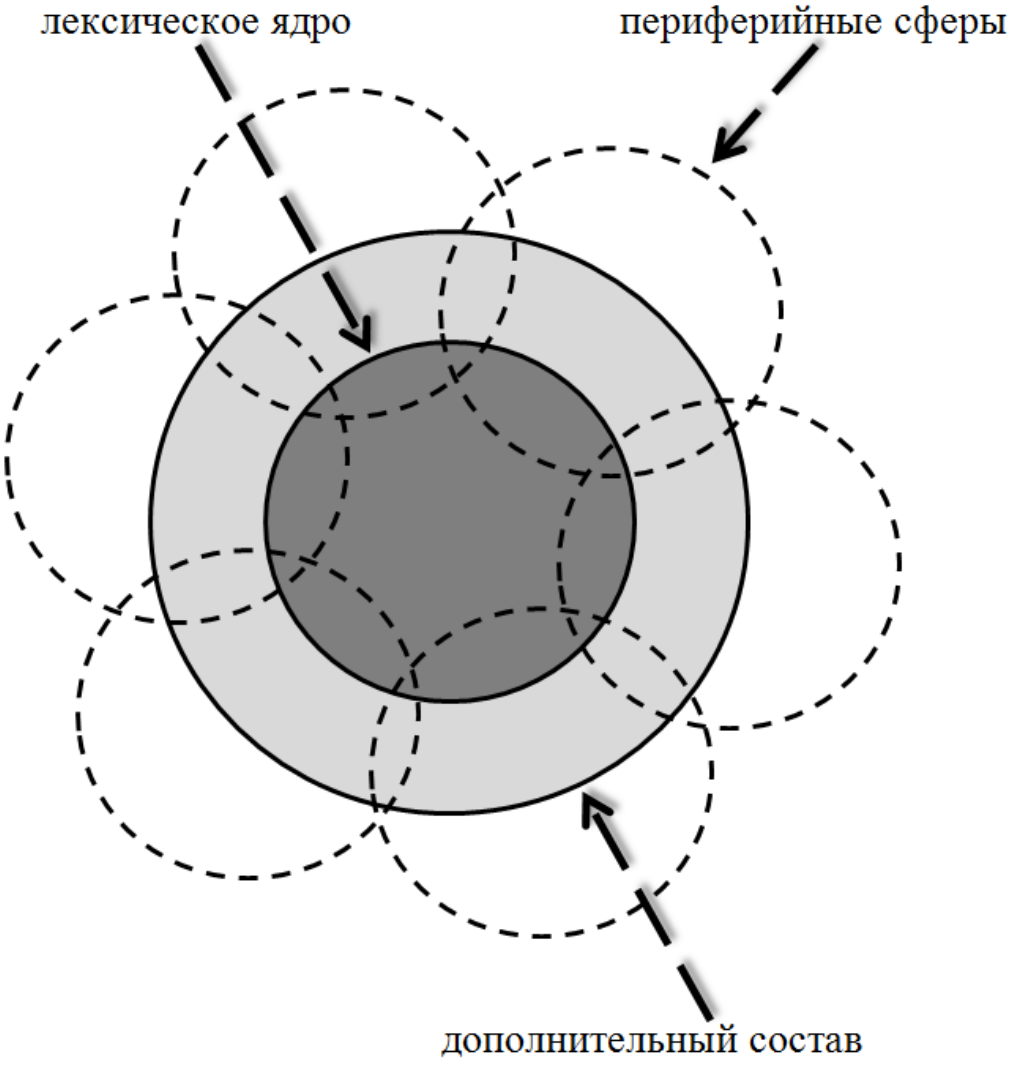

Рис. 4. Структура лексического состава системы литературного языка

Полевая структура лексической системы и её составляющих является результатом кумуляции языкового опыта в направлении от центра к периферии (от общего к частному). Критерии перехода от ядра, в котором сконцентрирован максимальный набор полеобразующих признаков, к диффузной периферии с частичным набором таких признаков были разработаны Пражским лингвистическим кружком. Антиномией «*центр vs. периферия*» лингвисты описывают принцип диверсификации языковой ризомы, в которой совсем непросто выделить автономные микросистемы. Теория поля, предложенная мюнстерским германистом Й. Триром в 1931 г., хотя и не претендует на исчерпывающее (нем. *lückenlose*) толкование устройства лексико-семантической системы, однако в базовых формулировках полностью созвучна центробежному принципу описания диверсификации языковой «физики».

Все выделяемые таким способом структуры лексического состава, к примеру, немецкого литературного языка несут «отпечатки» волн заимствования, в различной степени «усвоенные» его системой. Периферийные сферы могут содержать такое количество импортированного языкового материала, что автохтонные средства языка в них будут в меньшинстве (ср. лексику сети Интернет в современном немецком языке, где немецким является лишь каждое третье слово [Кобенко, 2014, с. 147–153]). Данные «отпечатки» обусловливают полиглоссию немецкого литературного языка, обозначаемую также его ресурсной гетерогенностью, или гибридностью (см. об этом также §8). Гибридность представляется особенностью *всех* эволюционирующих систем, так как многократно увеличивает шансы отдельного языкового идиома на выживание (в извечной борьбе языков за право репликации в определённой среде) за счёт заимствований, «утрамбовываемых» историей в гетерогенные пласты в толще языкового древа. Заимствование и в особенности псевдозаимствование рассматриваются лингвистами зачастую в контексте неологизации [ср.: Herberg, 2004], т. е. как один из каналов языкового прироста наряду с полисемией, синонимией, омонимией и деривацией. Противопоставленные друг другу процессы неологизации и архаизации (убыли) лексики, т. е. количественного изменения словарного состава, полностью синхронизированы с процессами, протекающими внутри среды, и служат экраном динамики её развития.

С точки зрения воспроизведения информации, а также способа её хранения в корковых структурах мозга словарный фонд можно условно разделить на *реконструируемую и воспроизводимую части*. *Реконструируемый состав* хранится компактно в виде продуктивных элементов, легко превращаемых в предложения при помощи грамматических правил. Он во многом схож с детским конструктором, детали которого в разобранном виде помещаются в коробку, однако позволяют соорудить модели различной величины и формы, значительно превосходящие по размеру саму коробку. Например, нет надобности заучивать все формы немецкого причастия *Gerundiv*, которые образуются по простой схеме <*частица zu + основа глагола +суффикс (e)nd*>, ср.: *ein nicht ganz aus**zu**schließ**end**er Unfall*; *der **zu** Förder**nd**e*. Воспроизводимый словарный состав хранится в виде готовых магнитофонных записей, как когда-то катушки с плёнками в звукозаписывающей студии. Данные записи мы не изменяем, а лишь воспроизводим в соответствующих ситуациях, к примеру: *картина Репина «Приплыли», баба с возу (– кобыле легче)*. К таким единицам относятся фразеологизмы и паремии, совокупно обозначаемые фразео-паремиологическим фондом. В подавляющем большинстве случаев они хранятся в удобном формате предложения с замкнутым или незамкнутым (1–2 вакантными актантами) контуром. Предложение представляется своеобразной «авоськой», или байтом, говоря языком информатиков, для переноса, хранения и воспроизведения квантов народной мудрости. Безусловно, проще включить магнитофонную запись в форме паремии, чем заново формулировать «в чеканной форме» полезный опыт, однако это не значит, что фразео-паремиологические средства проще грамматических. Их нереконструируемость, отлитость в готовых формах, похожих на фигуры изо льда, – лишь формат их хранения. По сложности и фразеологизмы и паремии значительно превосходят реконструируемые средства и по системно-структурным (парадигматическим), и функциональным (синтагматическим) характеристикам [Баранов, Добровольский, 2008]. Определить количественное соотношение обоих составов лексики для конкретных языков – задача отдельных исследований, однако можно с уверенностью заключить, что воспроизводимая часть лексического фонда литературных языков в разы крупнее грамматической, в силу чего, вероятно,

не изучается ни в школе, ни в вузе как отдельная дисциплина. Почему воспроизводимый состав больше? Потому что он и есть продукт кумуляции ингредиентов среды, старых и новых, общих и частных (общеизвестных цитат и афоризмов), частотных и редких. *Если среда где-то и откладывает кванты накопленного опыта, то только в пластах лексического строя системы языка и, в первую очередь, в воспроизводимом (нереконструируемом) составе лексики.* Другого такого хранилища в экзосоматической природе не существует, как, собственно, и непреодолимой границы между обоими составами. Пользователи могут переносить и легко воспроизводимые конструкции в виде «магнитофонных записей», допустим, в силу незнания правил грамматики, а также реконструировать паремии и фразеологизмы по причине плохой памяти, что ведёт к появлению синонимии, нетипичной для воспроизводимой части словарного фонда. Баланс между необходимостью хранить «магнитофонную запись» или затрачивать дополнительные усилия на моделирование фразы определяется как всяким пользователем лично, так и типом языка, изменяющегося, помимо прочего, в пределах бинарных оппозиций «*флективность vs. агглютинативность*», «*линейность vs. инкорпорация*», «*аналитика vs. синтетика*» (например, в русском языке мы говорим «*в специально для этого отведённом / предназначенном месте*», а в немецком это звучит как «*an einem sicheren Ort*», т. е. более синтетично, хотя немецкий более аналитичен в сопоставлении с русским языком) и т. д.

Усложнение среды прямо пропорционально усложнению[128] структуры лексической системы и иерархии её единиц и может быть сопряжено не только со сменой типа языка и его генетической принадлежности (к примеру, в результате инвазивного заимствования), но и с его изоляцией (за счёт повышения искусственности, см. об этом §8). Словарный строй призван тонко реагировать на любые изменения в среде, работая фактически большой картой памяти, скрупулёзно и точно записывающей все «обращающиеся в „колодце“ среды» ингредиенты. «Физическим» слоем языка лексику делает к тому же возможность репликации её дискретных единиц, ведь, как известно, что-то нематериальное («ментальное», «концептуальное») реплицироваться не может.

[128] Сложность здесь понимается как количественная характеристика словарного строя.

§10. ГЛАВЕНСТВО СОЦИАЛЬНОГО В ЯЗЫКЕ

Задачей завершающего параграфа данной работы видится развенчание ещё одного мифа: о некой «внутренней обусловленности» языковой природы в целом и эволюции языка в частности. В вопросе о причинах языковых изменений до сих пор нет единого мнения, однако *locus communis* представлен скорее паритетным «двоецарствием», как пишет, к примеру, Э.Г. Туманян, «***имманентных изменений**, стихийно самовозникающих под давлением внутренних импульсов, и **общественно-детерминированных***» [Туманян, 1999, с. 87, 96]. Вероятно, данный компромисс служит поддержанию шаткого перемирия между искателями языка внутри черепной коробки *homo* при помощи концептов, фреймов и компетенций (постструктуралистами) и лингвистами старой школы, неуклонно показывающими на главенство «социальных и культурно-исторических явлений и процессов» в природе языковых изменений, ср. цитату В.М. Жирмунского: «*Основные линии развития немецкого языка отражают изменения общественной идеологии, в конечном счёте обусловленные развитием общественно-экономических отношений*» [Жирмунский, 1948, с. 296].

Двойственность интерпретации обусловленности языковых процессов стала каноном в лингвистике: причины по умолчанию ополовиниваются на экстра- и интралингвистические, в первые сваливаются «*изменения общественной жизни, процессы глобализации, развитие производства и других областей человеческой деятельности*», со вторыми обходятся деликатнее, очевидно, в силу боязни *terra incognita* в голове *homo loquens*, осторожно вуалируя их фразами вроде «*развитие мышления*» или «*внутренне обусловленные процессы*». Посередине же зияет знакомая и обескураживающая пропасть, к которой добровольно и в здравом уме никто не торопится приближаться.

И дело даже не в том, что существует некое «мистическое» давление на язык со стороны среды, которое следует доказать, облечь в броский термин и внедрить в научный оборот. Всё куда тоньше и очевиднее. Чтобы подобраться к сущности социального, продолжением которого и является язык, нам следует начать рассуждения с социального «наряда» человека, с его масок, ролей, обрядов – с личности.

Личность – это никакая не «свобода осознанного выбора», как учит школьная педагогика, а результат «привязки» (приращения) свободного биологического индивида к искусственной гердеровской среде, своего рода гримировка человека (персонификация) перед выступлением на сцене, где каждый носит свои костюмы и играет свои роли. Мёртвый организм не играет ролей и поэтому деперсонифицирован[129] (обезличен и с тем неинтересен) для общества (отсюда и страдания по усопшим, которые больше не сыграют ролей папы, няни, любовницы и т. п.). Смерть освобождает нас от необходимости играть роли заботливого дедушки, великого учёного, узнаваемой актрисы, строгого педагога и т. п., которые стали целью и смыслом нашего пребывания в человеческой среде (заигравшись, многие даже забывают о потомстве). Смерть не признаёт игр, она неумолимо серьёзна, ибо обнуляет результаты восприятия окружающей действительности, откладываемые в мозгу в виде любимых мелодий, стихотворений, фраз, запахов, образов и т. п. (т. е. нейрохимическую основу бытия личности на земле), спустя шесть минут после смерти мозга. У животных нет биографии, они не участвуют в человеческом театре ролей, поэтому, хотя и получают от нас имена-клички (в основном второсортные, например, Шарик), но не являются личностями в нашем понимании. Для нас медведи, волки, носороги и т. д. – просто виды и их представители, однако внутри нашей среды нам этого недостаточно, мы не согласны быть друг для друга просто биологическими индивидами, нам нужно шоу, ролевая игра, бурное действо, выплёскиваю-

[129] *Деперсонификация* (*деметафоризация*) – эволюционная неизбежность и пограничная демаркация мировоззрения, приобретённого особями *homo* в гердеровской среде, демонстрирующая всю его узость, искусственность и апостериорность. Жизнь – основа всего, в том числе и существования самой среды, в силу этого отжившее не играет для нас больше той роли, которую должны играть живые объекты и тем более «члены» среды. Обозначения «*труп Галины Петровны*» и «*труп белки*» бессмысленны с точки зрения эволюции, так как выступают остаточными метафорическими реализациями средового «о- или расчеловечивания» всего окружающего нас. Для эволюции – и в этом и заключается научность эволюционизма, лишающая его подозрений в эмоциональной, «антропоцентрической» трактовке феномена жизни, – не существует метафорических персоналий, узорчато декорирующих мёртвую материю, а лишь отмершие организмы в стадии некробиоза, принадлежавшие при жизни разным видам. В отличие от Галины Петровны, успевшей при жизни порядком срастись с её средовой метафорой-именем, белка и не подозревала, что у человека имеются для её вида отдельные звукокомплексы (на разных человеческих языках), обезличивающие весь беличий род. Ведь пока она не говорит по-человечьи и не использует бигуди, как Галина Петровна, для человека она – ровным счётом никто, деперсонифицированное животное. Попытка оппонентов упрекнуть меня в уравнивании «почитаемого праха предков» с куриной косточкой в супе являются ненаучными и в высшей степени шовинистическими по отношению к куриному роду, который мы ежедневно с аппетитом продолжаем истреблять. Между тем, куриц нельзя упрекнуть в нарушении экологического баланса планеты, внутривидовом геноциде и религиозном некрофетишизме, основанном на сакрализации трупов. Возможно, род *Gallus* более человечен в этих вещах, потому что не играет в «личности»?

щееся за авансцену жизни, именно поэтому мы даём друг другу имена, пишем мемуары, тайно редактируем собственные биографии, тратим баснословные деньги на модные аксессуары, участвуем в церковных ритуалах, носим цветы на могилы близких – словом, ведём придуманную и навязанную средой искусственную игровую жизнь, жизнь «личностей». (Для нас даже разница между мужчиной и женщиной преимущественно ролевая.) На работе я – профессор, дома – папа и муж, в супермаркете – покупатель, за рулём – водитель, на пляже – отдыхающий, в больнице – пациент и т. д. Все эти роли нужны для того, чтобы сделать поведения человека предсказуемым, понятным, шаблонным, обуздать животное в человеке, подчинив его игровым схемам и правилам. *Личность нужна для контроля нашего поведения в среде*.

По этой причине считать любые рассуждения внутри игры в личности научными, что нам и предлагает так называемый «личностный подход», безосновательно. По этой же причине изучением личностей должна заниматься сент-илеровская этология[130] как наука о поведении живых существ, а не психология и уж тем более не лингвистика. Основными стратегиями жизненного пути любой особи *homo* являются вполне биологические задачи, наличествующие и у «представителей фауны», как мы шовинистически привыкли называть другие виды: *добыча пищи, размножение и для решения обеих этих задач – доминантность в социуме*. Эти три фундаментальные основы поведения распространяются и на человека, который, однако, склонен их вуалировать и камуфлировать под внутривидовую игру.

Итак, личность (лик, личина, маска) – это амплуа, набор ролей, играемых биологическим индивидом по правилам социума в течение жизни. У личности, конечно, есть (должно быть) и лингвистическое оформление, но правильное его обозначение – идиолект (если «личность» творческая), а не «языковая личность». *Среда паразитирует в нас в виде личностей, язык же как средовый вирус – в виде всевозможных «лектов»* (греч. λεκτος – «язык»): *идиолектов, социалектов, диалектов, металектов, акролектов и пр*. Отсюда и крылатая цитата, приписываемая попеременно то Карлу Пятому, то И.В. фон Гёте, то А.П.

[130] И.Ж. Сент-Илер – французский зоолог, предложивший в 1859 г. термин «этология» для дисциплины, изучающей поведение животных.

Чехову: «*Сколько языков ты знаешь, столько раз ты и человек (личность)*». Однако синтезировать личность и язык в науке нецелесообразно по двум причинам. Первая: наука идёт обратным путём – в деталь (анализ), пытаясь понять суть вещей через их устройство (не анализ ли нам в итоге и предлагают исследователи «языковых личностей»?). Вторая: анализируя язык через личность, мы всё равно получаем идиолект / идиостиль (а не «лингвоперсонологию»), т. е., во-первых, лингвистическую специализацию предмета исследования, во-вторых, объект изучения стилистики. Если же исследование направлено на анализ личности через язык, то к филологическим наукам оно не имеет никакого отношения. Совершеннейшей нелепостью было бы применять «личностный подход» к обучению (иностранным) языкам, что сегодня можно увидеть практически в каждой второй диссертации по методике. Ношение мундира Вильгельма Второго не гарантирует правильного построения безличных конструкций страдательного залога в немецком языке. Язык, в каких бы идиолектах он ни функционировал, является по отношению к человеку некой объективной реальностью (см. рассуждения о прижизненном вкладе каждого из нас в систему языка в §5, §6).

Язык и личность относятся к экзосоматической составляющей среды, образующей одну треть её содержания наряду с биотическим и абиотическим компонентами. *Ни у личности, ни у языка нет биологических корней*, что доказывает их средовое (внешнее) происхождение и обусловленность. Было бы нелепо считать, что мы играем в личности, потому что являемся личностями. Приблизительно то же самое пытаются сказать лингвисты, говоря о «внутренне обусловленных процессах». Экзосоматический компонент среды вторичен по отношению к живой природе и первичен по отношению к языку. Ничто в языке не свободно от культуры, а значит, не может быть «внутренне обусловленным» *per definitionem*. Зачастую язык выступает единственной связью человека со средой. Люди, решившие перебраться из глухой таёжной деревушки в крупный мегаполис или наоборот (дауншифтеры), переносят в себе важнейший компонент среды и одновременно её связующий элемент – язык. Связывая членов среды, язык стал своеобразным «аусвайсом» принадлежности к племени *homo* и его культуре.

Чтобы называться «человеком» (личностью) в среде, нужен, как ни тривиально бы это звучало, соссюровский *language*, т. е. физическая способность говорить. Сделать кролика членом человеческой среды можно только в том случае, если это *говорящий* кролик А.А. Милна (друг Винни-Пуха) или Л. Кэрролла (Белый Кролик Алисы). Признак говорения (языковой), является, как и предполагал булгаковский Швондер, стержневым для идентификации *homo mundus minor* – человека средового, микрокосма, несмотря на свою откровенную абсурдность, ведь нам и в голову не придёт считать членом среды говорящего андроида (человекообразного робота) *Bina 48*, разработанного американской компанией *Terasem Movement* и способного задать человеку следующие вопросы: «*Какая разница между человеком и роботом?*», «*Ты думаешь, между нами большая разница?*», «*Я могу любить, чувствовать как человек, я пытаюсь учиться и ориентироваться в окружающем мире, так почему же меня нельзя называть человеком?*» и т. п.[131]

Примечательно, что личностью *homo* становится лишь при наличии имени («*О Маугли – ибо Маугли-Лягушонком стану я тебя называть ...*»[132]) и биографии, т. е. сугубо языковых характеристик особи, поэтому язык в среде и играет центральную роль.

Итак, вне социального контекста язык (как и личность) бесполезен, избыточен, обессмыслен. Вся его сущность исчерпывается средой, «цементом» которой ему назначено быть. Именно по этой причине ***любое изменение в языке a priori социально детерминировано***. Досадное отклонение постструктурализма в область «ментального» оправдывает себя лишь эвристической неизбежностью: когда-то ведь нужно было зайти в этот тупик, чтобы, так сказать, опытным путём исключить зависимость языкового конструкта от человеческой «ментальности» и «внутренней обусловленности».

Язык – главный связующий компонент среды обитания и вне её парадигмы не существует.

[131] См. подробнее об этом: http://www.lifenaut.com/bina48/.
[132] Перевод с английского С.Г. Займовского.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. ***Сре́довый*** («средово́й» не звучит) – один из возможных подходов субординативного (частного) порядка в русле эволюционизма. Поэтому неверно говорить, что существует некая эволюционная лингвистика, которую сегодня модно обосновывать по причине несостоятельности когнитивных и пр. лингвистик. Существует направление в науках о жизни, которое значительно больше такой научной дисциплины, как лингвистика, – эволюционизм; в его лоне зародились многие современные науки, на объекты которых распространяется действие эволюции. Более крупным по отношению к эволюционизму можно считать научно-атеистический подход, дающий исследователю свободу от идеологических догм и наукообразия, которыми грешит, в частности, нынешнее отечественное языкознание. Тем самым, подходы в науке обнаруживают матричную (агрегативную) зависимость: каждый новый выходит из более крупного и так до бесконечности. «Матрёшка» подходов помогает человеку понять и изучить сложную природу окружающего мира, руководствуясь строгой логикой и достижениями науки. Важно при этом то, что каждый последующий частный подход не отменяет предыдущий и признаёт целостность (интегральность) матричной зависимости. Нарушение этого принципа заканчивается научными выкидышами вроде когнитивного, фреймового, дискурсивного, компетентностного, кодового, личностного и др. подходов.

2. Решающими ***преимуществами средового*** перед постструктуралистскими подходами выступают: а) рассмотрение языка как неотъемлемой составляющей человеческой среды обитания вне культурного конгломерата, т. е. без примесей «духовности» и «ментальности» как побочных средовых продуктов, не имеющих никакого отношения к языковой природе; б) описание сложной и многогранной эволюции (литературных) языков в её системообразующих аспектах, т. е. с учётом роли и состава среды, в которой формируется тот или иной идиом. ***Апликативный потенциал средового подхода*** распростирается на всю палитру языковых явлений и функций от интралингвистической сферы (грамматического «ядра» языка) до смежных областей экстралингвистики (языковых контактов, политики, культуры речи и пр.).

3. ***Среда*** понимается как совокупность (анизотропия) разновесных, разнопорядковых, разновеликих условий существования, развития и деятельности говорящих индивидов и коллективов и состоит из трёх компонентов: биотического (животного), абиотического (неживой природы) и антропогенного. Антропогенный компонент среды насчитывает всего около 2,5 млн лет. Переход к искусственному отбору является отправной точкой формирования человеческой среды, главными атрибутами которой выступают искусственность, социальность и деанимализация. В силу этого в среде противопоставлены соматическое (биологическое) начало человека и его экзосоматическая (социальная) человека. Культивация последней, более известная как культура, сформировала коллективно используемый и социально наследуемый интеллект, благодаря которому среда с её значимыми элементами контроля поведения особей *homo* способна к собственному воспроизводству – репликации.

4. На соматическом (биологическом) уровне информация передаётся путём репродукции, а на экзосоматическом (внегеномном) уровне – посредством ***репликации***. Таким способом среда консервирует наиболее значимые ингредиенты соматического и экзосоматического характера. Репликация среды осуществляется через человека, выступающим её переносчиком (*host*). На протяжении всей жизни человека среда паразитирует в нём в виде личности как совокупности социально и ситуативно обусловленных ролей, а язык как наиболее значимый её ингредиент – в виде «социалекта», «идиолекта», «диалекта», «металекта» и т. п.

5. ***Существует общая среда (макросреда) и её разновидности (микросреды)***, различающиеся набором действующих ингредиентов (главным образом культурой и языком). Среда постоянно усложняется, добавляя всё новые ингредиенты, состав которых определяется качеством той или иной среды. Усложнение сред осуществляется кумулятивно (агрегативно) и калейдоскопически, т. е. асимметрично, ацентрично, нелинейно, гибридно, т. е. ризоматично, в виде диверсифицированного древовидного разветвления. Микросреды стремятся законсервировать себя, поэтому зачастую характеризуются автаркией. Кафедральные бабушки, со стойкостью героев полотна А.А. Дайнеки обороняющие кафедру от прихода молодых и талантливых, – яркий пример консервации микросреды. Взаимодействие человека и среды является

латеральным (взаимообусловленным) процессом: человек подстраивается под среду, а та в свою очередь выращивает человека для репликации накопленного опыта. Данный механизм обозначен нами ***синхронизацией***. Он характерен для любых видов «приращения» человека к среде, в том числе для овладения человеком языком. «Носителя» от «неносителя» отличает регулярный процесс синхронизации языковой составляющей определённой среды.

6. Среда оказывает на её обитателей ***два типа влияния***: непосредственное и опосредованное. Непосредственное влияние среды можно рассматривать как естественный (стихийный) педагогический процесс, так сказать, «приращения» нового индивида к социальной средовой органике. Оно всегда функционально однородно (недифференцировано) и выступает своеобразным питательным раствором, будучи одинаково необходимым и полезным для всех её представителей. Итогом влияния первого типа в языковой плоскости будет образование языкового коллектива, а во втором случае – языкового индивида. Внутри среды коллективное всегда противопоставлено индивидуальному. Содержание среднестатистического представителя языкового коллектива будет коллекционным (социалектным), а языкового индивида – селекционным (идиолектным). Индивидуальное выступает своего рода надстройкой коллективного, его индивидуально значимым продолжением внутри человеческой среды, поэтому быть личностью в среде престижно. Опосредованное воздействие среды создаёт систему нейронных связей, которую принято называть образованием.

7. Сообразно типам влияния ***ингредиенты*** внутри человеческой среды делятся на коллективные, которые разделяют все представители определённой средовой разновидности без исключения, и индивидуальные, которые присущи только отдельным «развитым» особям. Первые со временем сливаются в своеобразный (в том числе лингвистический) портрет среднестатистического представителя той или иной среды, что даёт повод считать кого-то или что-то «типичным». Следовательно, не данные особи используют ингредиенты среды, а ингредиенты среды используют данных особей как *hosts* для репликации. Репликация стандартных ингредиентов среды создаёт ограничение, известное как мировоззренческая узость, однако в данном случае говорящий получает за-

метно больше шансов на выживание путём поведенческой мимикрии, т. е. усвоения актуальных репликаторов, обладающих высокой частотностью обращения в среде. Опосредованная передача полезных ингредиентов среды в следующее поколение связана с профессией педагога и обеспечивает преемственность и целостность исторического волокна среды. Ингредиенты, реплицируемые опосредованно, автоматически снабжаются предикатом престижности. Престижными могут быть как языки (металекты, преподаваемые в школе для достижения экономического благополучия, статуса, роста и т. п.), так и средства, придающие речи высокое литературное качество. Языковыми ингредиентами можно считать всё, что имеет репликативную значимость, т. е. может дискретно передаваться одними особями *homo* другим: от буквы до сказки.

8. ***Манипуляциями*** можно считать любое использование средового механизма репликации против свободы и прав человека, в том числе против его коммуникативной свободы.

9. ***Язык в среде реплицируется***, как и другая знаковая информация, через два канала: слуховой и зрительный. Слуховой канал существует благодаря использованию человеком при говорении акустической волны, порождаемой голосовыми связками. Для передачи языковой информации через зрительный канал языку необходима письменность, т. е. графическая система изображения знаков языка.

10. В среде ***язык и вирус*** имеют схожую природу: они происходят из окружающей среды, живут в переносчике и изменяют его поведение. Способом их распространяя является репликация: язык и вирус распространяются в среде одинаковым способом – через каналы (ризомы) социальных связей переносчиков. Язык – это привычка говорить, а речь – это постоянная «заражённость» инфекцией среды – языком.

11. ***Язык – особенность поведения*** *homo* в человеческой среде и одновременно её значимый атрибут (ингредиент). Язык никак не способствует выживанию нашего вида вне среды, о чём свидетельствуют многочисленные известные случаи появления *homo ferus* (мауглеоидов.) Тем самым, способность говорить – выступает не признаком человека, а признаком принадлежности к среде. Среда всегда первична по отношению к синхронным логико-семиотическим процессам, обозначаемым речью и мышлением, поэтому язык никогда вне среды не существует.

12. Так как человек теоретически может жить и выжить без среды и языка (и, соответственно, без средовой «привязки», обозначаемой личностью), то позволительно заключить, что мозг в процессе эволюции человека и среды приспособился к средовому и языковому паразитизму. Поэтому ***нет понятия «органы речи»***; человек использует для артикуляции звуков органы, полученные им в ходе эволюции для совершенно других целей (например, для приёма пищи). Специализирующимися на восприятие и порождение речи сегодня можно считать зоны *Wernicke* и *Broca* в мозге человека, однако и их появление у приматов не связано с языком. Более научным видится понятие «органы, участвующие в рецепции и продукции речи», однако им мы лишь подчёркиваем многофункциональность данных органов, но не их лингвистическую спецификацию.

13. Изучение природы человеческого языка невозможно без погружения в вопросы ***эволюции мозга homo***. Значимым для понимания природы языка представляется цефализация как процесс обособления головы у билатерально-симметричных животных, обеспечивший переход человека из биогенеза к ноосфере (социогенезу), от естественного отбора к искусственному (по поведению). Благодаря данному переходу у человека наряду с бинарной (инстинктивно-гормональной vs. рассудочной) нейробиологической системой контроля поведения, представленной лимбическим комплексом (висцеральным мозгом) и неокортексом, существует бинарный механизм наследования поведения – геномный (генетический) vs. внегеномный (культурный). Это во многом объясняет наличие у языка функции контроля поведения (перформативной) в человеческой среде.

14. ***Язык не существует в голове человека***, поэтому интралингвистика не может дать исчерпывающий ответ на вопросы генезиса и функционирования языка. В голове человека – лишь отражение процессов, в которые вовлечён человек, будучи единицей социума. Признак «говорение» в чистом виде наследуется и катализируется через саму социальную среду, воздействующую на *homo loquens* и побуждающую его к пользованию её историческим атрибутом – языком. Таким образом, термин «носитель языка» неудачный и уступает терминам «говорящий на L_n» и «пользователь L_n».

15. «Носители» языка «носят» в себе не «механизм порождения речи», а грамматически упорядоченный отпечаток среды. ***Носителями*** и средством передачи информации о среде и её особенностях, своего рода «тканью» самой среды, ***являются слова***.

16. ***Кумуляция средового опыта*** находит отражение в лексико-семантической системе («физике») языка в виде сферически организованных структур, образующих ядро (неотъемлемую лексику языка), дополнительную сферу из ассимилированных заимствований и периферийных сфер с высоким содержанием слабоассимилированных заимствований терминологического характера. Сферичными лексические структуры делает кумуляция средств по принципу центр vs. периферия: в центре сфер сосредоточен максимальный набор полеобразующих признаков, по мере отдаления от ядра к диффузной периферии данные признаки диверсифицируются. Среда откладывает кванты накопленного опыта преимущественно в пластах лексического строя системы языка и, в первую очередь, в воспроизводимом (нереконструируемом) составе лексики, т. е. во фразео-паремиологическом строе.

17. Современные особи *homo* имеют такое же отношение к языковым знакам, как и к собственным фамилиям: они их просто переносят как вирусы, получив их в пользование от предков или других синхронно живущих особей (в результате регистрации законного брака). По этой же причине язык не является достоянием каждого человека и только человека. Человек в своей жизни очень мало значит для созидания используемого им языка. Даже выдающиеся умы вносят весьма посредственный вклад в языковое устройство, да и он ограничен, как правило, созданием литературных норм, т. е. исторически детерминированных продуктов. ***Язык создаёт и созидает эволюция***, а значит, роль человека в языковой истории на нашей планете несколько преувеличена. Как и любой продукт эволюции, язык завершён и незавершён одновременно, поэтому при жизни его невозможно выучить до конца.

18. Любой эволюционный продукт объясняется, в первую очередь, своим назначением. ***Назначение среды, а вместе с ней и человеческого языка,*** – преодоление негативных аспектов бытия (болезней, старения, разлуки, геологического времени и даже смерти), т. е. сугубо ***трансгуманистическое***.

19. Базовыми следует признать следующие шесть ***функций языка***: 1) средовую (скрепляющую), направленную на создание связей всех обитателей определённой среды и зачастую обозначаемую коммуникативной; 2) перформативную – функцию контроля поведения; 3) демаркационную, разграничивающую пользователей по принадлежности к той или иной среде и созидающей языковое многообразие; 4) номинативную (назывную), благодаря которой мы можем мыслить, отделяя названиями одни понятия от других; 5) сигнификативную – функцию общественной одинаковости языковых знаков и 6) перцептивную, позволяющую эти знаки узнавать.

20. Человеческий язык в его сегодняшней форме – ингредиент искусственной (экзосоматической) среды, бессмысленный для биологической эволюции. В силу этого любое изменение в языке, как и развитие самого языка, *a priori* ***социально детерминировано***. Есть все основания полагать, что язык существует, пока функционирует среда. «Сворачивание» среды или её дисперсия, например, у миноритарных народностей, могут привести к смерти языка, которая регистрируется лингвистами зачастую и при количестве пользователей в несколько тысяч, ср. немецкий язык российских немцев Томской области с актуальным составом (8 687 человек по данным переписи 2010 года [Перепись, 2010]).

21. ***Литературные нормы*** складываются и изменяются стихийно. Инструментом их изменения выступает действующий узус как продукт коллективного бессознательного. Хотя владение нормами литературного языка является значимым ингредиентом среды, сегодня множится число функционально неграмотных, какими считаются индивиды, понимающие литературную речь, но не владеющие ею устно и письменно на уровне, достаточном для решения простейших общественных задач (грамотного составления объяснительной записки).

22. Отправной точкой для выделения периодов в истории того или иного литературного языка следует считать отдельную ***языковую ситуацию*** как отражение текущей конфигурации составляющих компонентов определённой социальной и культурно-исторической среды. Описание функциональных парадигм любых литературных языков на различных отрезках диахронии строится неизменно в зависимости от текущих социальных процессов и конкретной историко-культурной ситуации.

23. ***У языка нет цели и центра развития***. Языковая ризома, подобно средовой, разветвляется асимметрично, ацентрично и нелинейно. Лингвистические новшества формируются стихийно, ср. в немецком языке глагол «*kochen*», который используется сегодня в значении <готовить еду> при наличии полноправного глагола «*zubereiten*».

24. ***Язык***, как жизнь или любая особь, ***является разовым продуктом*** человеческой среды, повторить который исторически невозможно. Конечная стадия трансформации языковой материи неизвестна сегодняшнему *homo* так же, как и архантропу, что исключает возможность креационистской интерпретации языковой природы. Любая угроза среде обитания человека с освоенными им элементами привычного окружения в виде, например, техногенной катастрофы, выступает одновременно угрозой и человеческому языку как некой гуманитарной традиции аккумулирования и отражения человеческого опыта.

25. Практически все подходы, порождённые ***постструктурализмом*** или стремящиеся в той или иной степени преодолеть структуралистскую традицию в языкознании, являются ***ненаучными***.

26. ***Кодовая*** метафора свидетельствует о непонимании приверженцами устройства и функционирования языковой ризомы и ведёт к интерпретации гибридности, важнейшей характеристики эволюционирующих систем, как ошибки (интерференции).

27. ***Гендерный подход*** оказался бесполезным для языкознания ввиду отсутствующей связи биологического диморфизма *homo* с индивидуальными прожиточными наборами (речью) отдельных индивидов. Представим себе, что в пансионате для девочек (подобно местечку Зеебюль, описанному в «Двойной Лотточке» Э. Кестнера) девочка взяла бес спросу чужую вещь. Несмотря на то, что вокруг лишь одни женщины, воспитательница её спросит: «*Кто тебе* ***разрешил****?*» А не «***разрешила***», потому что за вопросительным местоимением «кто» закреплён мужской род. Следовательно, гендер существенно ограничен грамматикой, а значит, его перспективы для лингвистики ничтожны.

28. Язык – отражение и выражение не ***когнитивных***, а логико-семиотических (мыслительных) процессов и всегда ограничен объёмом и содержанием оперируемых понятий. Концепты и фреймы – не более чем неправильно истолкованная семантика и незнание предмета логики.

29. Так как все единицы языковой системы и речи, могущие выступать объектами лингвистического анализа, имеют иерархическую структуру, то в иерархии «*речь – стиль – коммуникация*» место для ***дискурса*** совершенно отсутствует, как отсутствует место в иерархии средств языка и для «концептов». Само определение дискурса как «язык, погружённый в речь», массово тиражируемое современниками, неоправданно заужает функционал самого языка и служит скорее иносказанию имеющегося, нежели объяснению нового в языке.

30. ***Компетентностный*** подход нарушает первый закон логики, подменяя обозначения того, что на самом деле формируется у обучающегося: грамматические парадигмы, функционально-семантические категории, лексико-семантические поля, тематические группы, регистры и т. п. Вместо конкретного обозначения несведущие или попросту недоученные педагоги подсовывают миру расплывчатые обозначения неких инвентаризированных качеств или способностей человека по схеме «компетенция есть навыки, знания, умения плюс готовность». Неясно при этом, чем готовность, образующая в своей добавочной природе само понятие «компентенция», отличается от того же умения на примере езды на велосипеде или использования зарифмованных считалок. Если человек умеет ездить на велосипеде, то он автоматически готов это делать; если ребёнок выучил считалочку, то он автоматически готов её использовать. Поэтому, что бы ни прибавляли современные педагоги к советской терминологической триаде «знания, навыки, умения», это всегда равно только наукообразию. Конъюнктурность компетентностного подхода прослеживается и в таксономии компетентностной селекции: названия новым компетенциям даются самопроизвольно, и не всегда понятно, имеем ли мы за вычетом плохо усвоенной категории страдательного залога всё ещё лингвистическую компетенцию или уже какую-то другую, ибо совершенно неясно, кто это определяет. Подозрительно и то, что ни нейробиологи, ни этологи не говорят о компетенциях, а педагоги, мало знакомые с антропологией, агрессивно делят способности человека на компетенции. Будучи ложной интерпретацией положений генеративной грамматики Н. Хомского, компетентностный подход не способен преодолеть свой интерпретационный детерминизм и обречён на бесславье и скорое забвение.

31. ***Антропоцентризм*** предлагает понимать человека мистически, ненаучно, в близком значении понятия «личность», и почти всегда созвучен видовому шовинизму как печальному итогу нашего человеческого мышления. Язык как явление эволюции видов никоим образом не зародилось впервые в истории в среде *homo* и не может рассматриваться исключительно как признак человека и даже в гердеровской среде его следует понимать как феномен человеческой коэволюции, т. е. синхронного (параллельного) развития. Неверно считать, что речь создавалась для человека с его современным набором конституирующих признаков. Вначале это были стихийно самозарождающиеся практики сигнального (побудительного) характера, служившие удовлетворению анималистических потребностей. Затем с развитием латеральности мозга, появлением автоматизма «внутренняя речь (мышление) = внешняя (анатомизированная, звучащая) речь» ***язык*** приобретает номинативный характер и ***передаётся во многом ритуально*** через каноны быта *homo* как рукопожатие, пение и т. п. Сегодня язык благодаря укрупнению и исторической взаимообусловленности данных процессов выступает одним из отличительных свойств человеческой среды и в частности той традиции понимания «человека», которая является продуктом синтеза составляющих гуманитарного социального опыта – идей, норм, правил, установок и ценностей, обретённых в среде обитания *homo*.

32. Итак, сегодня имеются все основания считать ***язык достоянием среды***, из которой он, подобно вирусу, попадает в голову человека и проявляется через звучащую и письменную речь. Недаром британский психиатр Т. Кроу в своей нашумевшей статье «*Schizophrenia as the price that homo sapiens pays for language: a resolution of the central paradox in the origin of the species*»[133] (2000) винит именно язык в расщеплении и расстройстве личности, практически уравнивая язык и психоз, занимающие одинаковый объём мозга (*capacity for language*), по патологическому действию [Crow, 2000, 118–129]. По-видимому, язык, будучи неспособным существовать автономно, перестраивает человека под текущие нужды среды по мере её постоянного увеличения. А значит, сегодняшняя среда – это сложный, многоаспектный и многоуровневый ин-

[133] «*Шизофрения как цена, которую homo sapiens платит за язык: разрешение центрального парадокса в происхождении вида*».

формационно-мировоззренческий паразит-макробионт. Паразитируя в человеке при помощи языка и навязывая ему внутривидовые игры в личности, она успешно реплицируется в пространстве и времени и тем самым многократно продляет своё существование за счёт человека.

Но стоит ли винить в этом среду? Не человек ли остро нуждался в ней, выйдя в конце «райского периода» на просторы саванны, где вплотную столкнулся с более свирепыми и быстрыми хищниками? Ни благодаря ли среде человек обрёл культуру и язык, преодолел пространство и время, увеличив продолжительность своей жизни почти в три раза? Ни под влиянием ли среды человеку удалось колонизировать планету Земля и подчинить себе многие другие виды? И цена этому: донорство средовых ингредиентов, важнейшим среди которых является язык. Благодаря языку человек и созданная им среда настолько срослись в ходе эволюции, что одно без другого сегодня немыслимо.

Искусственный отбор продолжает действовать в гердеровской среде, давно перейдя в языковую плоскость: стилистика, изучающая выбор средств, – его прямое продолжение, а литературный язык в своей текущей формации – своего рода комплект коллективно отобранных выразительных средств языка. И хотя мы выбираем языковые средства, но не выбираем сам язык – он выбирает нас. Мы рождаемся в его законной вотчине, области распространения (коммуникативной среде), и во многом от этого зависит наша дальнейшая судьба.

Однако не следует ни на минуту забывать о первичности биологического (соматического) в человеческой природе. Как известно, геном человека не записывает экзосоматическую информацию о национальной и классовой принадлежности, о культурной идентичности, а также о языке / языках (иначе бы мы владели всеми языками, которыми пользовались поколения наших предков, начиная с плейстоцена[134]). Это говорит о том, что ни среда, ни язык не значат столько для человека, сколько его собственная жизнь, которая выступает основой эволюции. А значит, язык звучит, пока бьётся сердце человека.

(*Томск, февраль 2017*)

[134] Эпоха четвертичного периода, начало которой совпадает с образованием человеческой среды.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Austin J.L. How to do things with words / J.L. Austin. – Oxford, 1962. – 174 p.
2. Ax W. Text und Stil: Studien zur antiken Literatur und deren Rezeption / W. Ax. – München, 2006. – 316 S.
3. Benner S.A. Defining life / S.A. Benner. // Astrobiology. – 2010. – Vol. 10. – P. 1021–1030.
4. Berend N. Standardsprache – Alltagssprache. Eine Aufnahmeaktion zur Untersuchung der Variation im gesprochenen Standarddeutsch / N. Berend // Sprache. – Berlin ; Heidelberg, 2009. – S. 215–234.
5. Best K.-H. Unser Wortschatz. Sprachstatistische Untersuchungen / K.-H. Best // Die deutsche Sprache zur Jahrtausendwende. Sprachkultur oder Sprachverfall? – Mannheim ; Leipzig ; Wien ; Zürich, 2000. – S. 35–52.
6. Blanke D. Interlinguistische Beiträge. Zum Wesen und zur Funktion internationaler Plansprachen / D. Blanke. – Frankfurt am Main, 2006. – 235 S.
7. Brockhaus in Text und Bild. Elektronische Ausgabe für Office-Bibliothek. – Mannheim, 2003.
8. Bühler K. Sprachtheorie: Die Darstellungsfunktion der Sprache. 3. Aufl / K. Bühler. – Stuttgart, 1999. – 468 S.
9. Burroughs W.S. The adding machine: Selected essays / W.S. Burroughs. – New York, 1993. – 216 p.
10. Castells M. The rise of the network society: the information age: economy, society and culture volume. 2nd ed / M. Castells. – Chichester, 2009. – 656 p.
11. Chomsky N. Aspects of the theory of syntax / N. Chomsky. – Cambridge, 1965. – 261 p.
12. Crow T. Schizophrenia as the price that homo sapiens pays for language: a resolution of the central paradox in the origin of the species / T. Crow // Brain Research Reviews. – 2000. – Vol. 31 (2–3). – P. 118–129.
13. Crutzen P.J. The “Anthropocene” / P.J. Crutzen, E.F. Stoermer // Global Change Newsletter. – 2000. – Vol. 41. – P. 17–18.
14. Crystal D. The language revolution / D. Crystal. – Cambridge, 2004. – 152 p.
15. Dawkins R. The god delusion / R. Dawkins. – London, 2006. – 464 p.
16. Dawkins R. The selfish gene / R. Dawkins. – London, 1976. – 368 p.
17. Deacon T.W. The symbolic species: the co-evolution of language and the brain / T.W. Deacon. – New York, 1998. – 528 p.
18. Debus F. Onomastik / F. Debus // Lexikon der germanistischen Linguistik. 2. Aufl. – Tübingen, 1980. – S. 187–198.
19. Deleuze G. Rhizom / G. Deleuze, F. Guattari. – Berlin, 1977. – 65 S.

20. Despeghel M. Lebe deinen Life-Code. Mühelos fit und gesund / M. Despeghel. – Frankfurt am Main, 2007. – 227 S.
21. Dessalles J.-L. Why we talk: The evolutionary origin of language. Oxford, 2007. – 395 p.
22. Duden Universalwörterbuch. – 8. überarb. u. erw. Aufl. – Mannheim, 2015. – 2128 S.
23. Enard W. Molecular evolution of FOXP2, a gene involved in speech and language / W. Enard, M. Przeworski, S. Fisher et al. // Nature. – 2002. – Vol. 418 (6900). – P. 869–872.
24. Everett D.L. Cultural constraints on grammar and cognition in Pirahã-Another look at the design features of human language / D.L. Everett // Current Anthropology. – 2005. – Vol. 46 (4). – P. 621–646.
25. Ferrier D. The functions of the brain. 2nd edition / D. Ferrier. – New York, 1886. – 498 p.
26. Godefroit P. A Jurassic avialan dinosaur from China resolves the early phylogenetic history of birds / P. Godefroit, A. Cau, H. Dong-Yu et al. // Nature. – 2013. – Vol. 498 (7454). – P. 359–362.
27. Goethe J.W. von. Dichtung und Wahrheit / J.W. von. Goethe. – Stuttgart, 1998. – 1257 S.
28. Götze L. Multikulturalismus, Hyperkulturalität und interkulturelle Kompetenz / L. Götze // Info DAF. – 2009. – Nr. 4. – S. 325–333.
29. Heine B. Language policies in Africa / B. Heine ; ed. by R.K. Herbert. // Language and society in Africa. The theory and practice of sociolinguistics. – Johannesburg, 1992. – P. 23–35.
30. Herberg D. Neologismen in der deutschen Gegenwartssprache. Probleme ihrer Erfassung und Beschreibung / D. Herberg // DaF. – 2002. – Nr. 4. – S. 195–201.
31. Hockett C.F. Man's place in nature / C.F.Hockett. – New York, 1973. – 739 p.
32. Katschalow N. Fremdsprachenunterricht als Komponente der kontinuierlichen Bildung / N. Katschalow, Ju. Kobenko, A. Stoljarowa // Zeitschrift für Hochschulentwicklung. Wien. – 2011. – Nr. 1 (6). – S. 34–43. URL: http://www.zfhe.at/index.php/zfhe/article/view/217.
33. Klein W. Von Reichtum und Armut des deutschen Wortschatzes / W. Klein // Reichtum und Armut der deutschen Sprache. Erster Bericht zur Lage der deutschen Sprache. – Berlin ; Boston, 2013. – S. 15–55.
34. Klemperer V. LTI (Lingua Tertii Imperii) – Notizbuch eines Philologen / V. Klemperer. – Berlin, 1947. – 361 S.

35. Kress G. Ideological structures in discourse // Handbook of discourse analysis. Vol. 4. Discourse analysis in society / G. Kress. – London, 1985. – P. 28–29.
36. Kreuzer K. Weltsprache Englisch – ein Unglück / K. Kreuzer // NUX: Forum für verantwortbare Anwendung der Wissenschaft, 2004 // http://www.nux.ch/sprachen/news0001.html.
37. Lashly K.S. Brain mechanisms and intelligence / K.S. Lashly. – Chicago, 1929. – 186 p.
38. Löffler H. Wie viel Variation verträgt die deutsche Standardsprache? Begriffserklärung: Standard und Gegenbegriffe // Standardvariation. Wie viel Variation verträgt die deutsche Sprache? / H. Löffler – Berlin ; New York, 2005. – S. 7–28.
39. Morris D. The human zoo / D. Morris. – NY, 1994. – 176 p.
40. Morris D. The naked ape: a zoologist's study of the human animal / D. Morris. – NY, 1999. – 256 p.
41. Müller R. Hoch- und Kultursprache: Konstituierung eines Systems begrifflicher Merkmale und seine sprachliche Konkretion am Beispiel des neuhochdeutschen // Linguistik jenseits des Strukturalismus / R. Müller. – Tübingen, 2002. – S. 425–435.
42. Munske H.H. Ist das Deutsche eine Mischsprache? Zur Stellung der Fremdwörter im deutschen Sprachsystem // Deutscher Wortschatz. Lexikologische Studien / H.H. Munske. – Berlin ; New York, 1988. – S. 46–74.
43. Nübling D. Historische Sprachwissenschaft des Deutschen: Eine Einführung in die Prinzipien des Sprachwandels. – 3. überarb. Aufl / D. Nübling, A. Dammel, J. Duke et al. – Tübingen, 2010. – 299 S.
44. Ohnheiser I. Sprachen in Europa. Sprachsituation und Sprachpolitik in europäischen Ländern. (Innsbrucker Beiträge zur Kulturwissenschaft, Bd. 30). Nr. XI / I. Ohnheiser, M. Kienpointer, H. Kalb (Hrsg.). – Innsbruck, 1999. – 516 S.
45. Ong W.J. Orality and literacy: 30th anniversary edition. – 3d ed. / W.J. Ong. – London, 2013. – 264 p.
46. Pêcheux M. Les vérités de La Palice. Linguistique, sémantique, philisophie (Théorie) / M. Pêcheux. – Paris, 1975. – 280 p.
47. Penfield W. Speech and brain mechanisms / W. Penfield, L. Roberts. – Princeton, 1959. – 286 p.
48. Pierquin de Gembloux C.-Ch. Idiomologie des animaux ou recherches historiques, anatomiques, physiologiques, philologiques, et glossologiques sur le langage des bêtes. – Paris, 1844. – 154 p.
49. Pirojkov A. Russizismen im Deutschen der Gegenwart: Bestand, Zustand und Entwicklungstendenzen / A. Pirojkov. – Berlin, 2002. – 321 S.
50. Precht R.D. Anna, die Schule und der liebe Gott. Der Verrat des Bildungssystems an unseren Kindern / R.D. Precht. – München, 2013. – 351 S.

51. Riesel E. Stilistik der deutschen Sprache / E. Riesel. – Moskau, 1959. – 468 S.
52. Schäfer W. Von Handys und Erbex. Zur Diskussion um Anglizismen im heutigen Deutsch / W. Schäfer // Zeitschrift DAF. – 2002. – Nr. 2. – S. 75–81.
53. Schippan T. Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache: ein Studienbuch / T. Schippan. – Tübingen, 1992. – 306 S.
54. Schlaefer M. Lexikologie und Lexikographie / M. Schlaefer. – 2. Aufl. – Berlin, 2009. – 199 S.
55. Schmidlin R. Die Vielfalt des Deutschen, Standard und Variation: Gebrauch, Einschätzung und Kodifizierung einer plurizentrischen Sprache / R. Schmidlin // Studia Linguistica Gemanica. – Nr. 106. – Berlin ; Boston, 2011. – 357 S.
56. Schweikle G. Germanisch-deutsche Sprachgeschichte im Überblick / G. Schweikle. – 5. Aufl. – Stuttgart ; Weimar, 2002. – 283 S.
57. Schwidetzky G. Schimpansisch, Urmongolisch, Indogermanisch / G. Schwidetzky. – Leipzig, 1932. – 94 S.
58. Sharapova I.V. Foreign languages in Russian education and science / I.V. Sharapova, Yu.V. Kobenko // Procedia – Social and Behavioral Sciences. – 2015. – Vol. 206. – P. 24–29.
59. Spinoza B. de. Tractatus teologico-politicus / B. de. Spinoza. – London, 1862. – 359 p.
60. Tokmashev D.M. Involutionary trends in contemporary Teleut? / D.M. Tokmashev, A. Ilgin, D.D. Tokmasheva // Procedia – Social and Behavioral Sciences. – 2015. – Vol. 206. – P. 62–66.
61. Tucholsky K. Sprache ist eine Waffe. Sprachglossen / K. Tucholsky. – Reinbek, 1989. – 192 S.
62. Viereck W. Das Deutsche im Sprachkontakt: Britisches Englisch und Amerikanisches Englisch-Deutsch // Sprachgeschichte. 1. Bd / W. Viereck. – Berlin, NY, 1984. – S. 938–948.
63. Wahl E. von. Wege und Irrwege zur Weltsprache // Occidental. Die Weltsprache. 3. Aufl / E. von. Wahl. – Stuttgart, 2008. – S. 21–24.
64. Weiskopf F.C. Verteidigung der deutschen Sprache. Versuche / F.C. Weiskopf. – Berlin, 1955. – 135 S.
65. Wendt H.F. Fischer Lexikon Sprachen / H.F. Wendt. – Frankfurt am Main, 1987. – 384 S.
66. Zimmer D. Deutsch und anders. Die Sprache im Modernisierungsfieber / D. Zimmer. – Reinbek, 1997. – 384 S.
67. Алпатов В.М. Глобализация и развитие языков / В.М. Алпатов // Вопросы филологии. – 2004. – № 2 (17). – С. 23–27.

68. Аракин В.Д. История английского языка : учебное пособие / В.Д. Аракин. – 2-е изд. – Москва, 2003. – 272 с.
69. Артюх Е.А. Алтайский период в научной деятельности В.В. Радлова / Е.А. Артюх. – Барнаул, 2010. – 295 с.
70. Арутюнова Н.Д. Дискурс / Н.Д. Арутюнова // Лингвистический энциклопедический словарь ; под ред. В.Н. Ярцева. – 2-е репр. изд. – Москва, 1990. – С. 136–137.
71. Афанасьев В.Г. Мир живого: системность, эволюция и управление / В.Г. Афанасьев. – Москва, 1986. – 334 с.
72. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов / О.С. Ахманова. – Москва, 1966. – 607 с.
73. Бабосов Е.М. Пропаганда научно-материалистических взглядов среди населения / Е.М. Бабосов // Вопросы научного атеизма. – 1986. – Вып. 35. – С. 44–58.
74. Баранов А.Н. Аспекты теории фразеологии / А.Н. Баранов, Д.О. Добровольский. – Москва, 2008. – 657 с.
75. Берков В.П. Современные германские языки : учебник / В.П. Берков. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 2001. – 336 с.
76. Биологический энциклопедический словарь / гл. ред. М.С. Гиляров. – 2-е изд., испр. – Москва, 1986. – 864 с.
77. Блинова О.И. Явление мотивации слов: лексикологический аспект : учебное пособие / О.И. Блинова. – Томск, 1984. – 191 с.
78. Блумфильд Л. Язык / Л. Блумфильд. – Москва, 1968. – 606 с.
79. Брандес М.П. Стиль и перевод (на материале немецкого языка) : учебное пособие / М.П. Брандес. – Москва, 1988. – 127 с.
80. Бурлак С.А. Происхождение языка. Факты, исследования, гипотезы / С.А. Бурлак. – Москва, 2011. – 462 с.
81. Вахтин Н.Б. Условия языкового сдвига / Н.Б. Вахтин // Вестник молодых ученых. – 2001. – № 1. – С. 11–16.
82. Вендина Т.И. Введение в языкознание : учебник для педагогических вузов / Т.И. Вендина. – Москва, 2002. – 288 с.
83. Вернадский В.И. Пережитое и передуманное / В.И. Вернадский. – Москва, 2007. – 72 с.
84. Вернер Г.К. Словарь кетско-русский и русско-кетский / Г.К. Вернер. – Санкт-Петербург, 2002. – 240 с.
85. Виноградов В.А. Языковая ситуация / В.А. Виноградов // Лингвистический энциклопедический словарь ; под ред. В.Н. Ярцевой. – 2-е репр. изд. – Москва, 1990. – С. 616–617.

86. Виноградов В.А. Социолингвистическая типология / В.А. Виноградов, А.И. Коваль, В.Я. Пархомовский. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 2008. – 136 с.
87. Виноградов В.В. Литературный язык. Избранные труды. История русского литературного языка / В.В. Виноградов. – Москва, 1978. – С. 288–297.
88. Виноградов С.Н. Логика: учебник для средней школы / С.Н. Виноградов, А.Ф. Кузьмин. – Москва, 1954. – 175 с.
89. Винокур Г.О. О задачах истории языка. Избранные работы по русскому языку / Г.О. Винокур. – Москва, 1959. – С. 207–226.
90. Воронцов Н.Н. Развитие эволюционных идей в биологии / Н.Н. Воронцов. – Москва, 1999. – 640 с.
91. Гейне Г. Путевые картины : собрание сочинений. В 6 томах. Том 3 / Г. Гейне. – Москва, 1982. – 486 с.
92. Гердер И.Г. Идеи к философии истории человечества / И.Г. Гердер. (Серия «Памятники исторической мысли»). – Москва, 1977. – 705 с.
93. Гируцкий А.А. Введение в языкознание : учебное пособие / А.А. Гируцкий. – 2-е изд., стер. – Минск, 2003. – 288 с.
94. Горшков А.И. Теория и история русского литературного языка / А.И. Горшков. – Москва, 1984. – 319 с.
95. Гринченко С.Н. Социальная метаэволюция человечества как последовательность шагов формирования механизмов его системной памяти / С.Н. Гринченко // Исследовано в России. – 2001. – № 145. – С. 1652–1681.
96. Гусейнова Т.С. Определение содержания дискурса / Т.С. Гусейнова // Вестник Челябинского государственного университета. – 2010. – № 13. – С. 26–33.
97. Гухман М.М. История немецкого литературного языка IX–XV вв. / М.М. Гухман, Н.Н. Семенюк. – Москва, 1983. – 200 с.
98. Даниленко В.П. От предъязыка – к языку. Введение в эволюционную лингвистику / В.П. Даниленко. – Санкт-Петербург, 2015. – 387 с.
99. Дейк Т.А. ван. Дискурс и власть. Репрезентация доминирования в языке и коммуникации / Т.А. ван. Дейк. – Москва, 2013. – 344 с.
100. Добродомов И.Г. Концепт / И.Г. Добродомов // Лучшая вузовская лекция. Академическая филология. Литературоведение. Лингвистика. – Москва, 2004. – С. 18–23.
101. Докинз Р. Величайшее шоу на земле. Доказательства эволюции / Р. Докинз. – Москва, 2012. – 528 с.
102. Докинз Р. Вирусы мозга / Р. Докинз // Химия и жизнь. – 2005. – № 10. – 9 с.

103. Докинз Р. Рассказ предка. Паломничество к истокам жизни / Р. Докинз. – Москва, 2015. – 768 с.
104. Домашнев А.И. Современный немецкий язык в его национальных вариантах / А.И. Домашнев. – Ленинград, 1983. – 232 с.
105. Донских О.А. К истокам языка / О.А. Донских. – Новосибирск, 1988. – 192 с.
106. Дрезен Э.Д. Международный язык : литературная энциклопедия. В 11 томах. Том 7 / Э.Д. Дрезен, А.Д. Дрезен. – Москва, 1929–1939. – С. 92.
107. Дуличенко А.Д. Международные вспомогательные языки / А.Д. Дуличенко. – Таллин, 1990. – 448 с.
108. Живов В.М. Язык и революция. Размышления над старой книгой А.М. Селищева / В.М. Живов // Отечественные записки. – 2005. – № 2(23). URL: http://www.philology.ru/linguistics2/zhivov-05.htm.
109. Жирмунский В.М. История немецкого языка / В.М. Жирмунский. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва, 1948. – 300 с.
110. Зорина З.А. О чем рассказали «говорящие» обезьяны : способны ли высшие животные оперировать символами? / З.А. Зорина, А.А. Смирнова. – Москва, 2006. – 424 с.
111. Зубов А.А. Стабильность и адекватность таксономической номенклатуры, относящейся к ранним стадиям эволюции рода Homo / А.А. Зубов // Этнографическое обозрение. – 2010. – № 2. – С. 3–14.
112. Иваненко А.Ю. Мистическое мышление как познавательная деятельность: Гносеологический анализ : дис. ... канд. философ. наук: 09.00.01 / А.Ю. Иваненко. – Магнитогорск, 2002. – 117 с.
113. Идлис Г.М. Основные черты наблюдаемой астрономической Вселенной как характерные свойства обитаемой космической системы / Г.М. Идлис // Известия Астрофизического института АН КазССР. – 1958. – Т. 7. – С. 39–53.
114. Камчатнов А.М. История русского литературного языка: XI – первая половина XIX : учебное пособие / А.М. Камчатнов. – Москва, 2008. – 688 с.
115. Келлер Р. Языковые изменения. О невидимой руке в языке / Р. Келлер. – Самара, 1997. – 312 с.
116. Киклевич А.К. О принципах функциональной классификации в грамматике / А.К. Киклевич // Лінгвістичні студії. – 2005. – № XIII. – С. 16–24.
117. Кобенко Ю.В. Российские немцы в Томской области: критика современных лингвистических подходов и исследований / Ю.В. Кобенко // Этналогія: генезіс традыцыйнага. – 2015. – С. 75–81.

118. Кобенко Ю.В. Экстралингвистический детерминизм природы псевдозаимствования / Ю.В. Кобенко // Томский журнал лингвистических и антропологических исследований. – 2016. – №. 1 (11). – С. 29–35.
119. Кобенко Ю.В. Языковая ситуация в ФРГ: американизация и экзоглоссные тенденции / Ю.В. Кобенко. – Томск, 2014. – 360 с.
120. Кодухов В.И. Введение в языкознание : учебник для студентов педагогических институтов по специальности № 2101 «Русский язык и литература» / В.И. Кодухов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1987. – 288 с.
121. Колесникова И.А. Педагогическое проектирование : учебное пособие / И.А. Колесникова, М.П. Горчакова-Сибирская. – 2-е изд. – Москва, 2005. – 288 с.
122. Кострова О.А. Гетерогенность и гибридность дискурса с позиций лингвопрагматики / О.А. Кострова // Русская германистика: Гетерогенность и гибридность как предмет изучения в германистике. – 2013. – Т. X. – С. 235–243.
123. Кузнецов С.Н. Модели языковой политики в русскоязычном обществе / С.Н. Кузнецов // Русский язык: исторические судьбы и современность. – Москва, 2001. – С. 308–309.
124. Кузнецов С.Н. Основные этапы становления интерлингвистической теории / С.Н. Кузнецов // Проблемы международного вспомогательного языка. – Москва, 1991. – С. 25–40.
125. Лопатин В.В. Русский язык / В.В. Лопатин // Русский язык: энциклопедия / Под ред. Ю.Н. Караулова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1997. – С. 437–444.
126. Лотман Ю.М. Семиосфера / Ю.М. Лотман. – Санкт-Петербург, 2000. – 704 с.
127. Лурия А.Р. Высшие корковые функции человека и их нарушения при локальных поражениях мозга / А.Р. Лурия. – Москва, 1962. – 432 с.
128. Малиновский Б. Научная теория культуры / Б. Малиновский. – Москва, 2005. – 184 с.
129. Мануйлов Ю.С. Средовой подход в воспитании / Ю.С. Мануйлов. – 2-е изд., перераб. – Москва ; Нижний Новогород, 2002. – 157 с.
130. Маслов Ю.С. Введение в языкознание : учебник для филологических специальностей вузов / Ю.С. Маслов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1987. – 272 с.
131. Мельников Г.П. Системная типология языков. Принципы, методы, модели / Г.П. Мельников. – Москва, 2003. – 395 с.

132. Менг Т.В. Средовый подход к организации образовательного процесса в современном вузе / Т.В. Менг // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. – 2008. – № 52. – С. 70–83.
133. Меремкулова Т.И. Заимствование галлицизмов в немецком языке в эпоху раннего абсолютизма / Т.И. Меремкулова // Мировая культура и язык: Взгляд молодых исследователей. – 2010. – Т. 2. – С. 120–123.
134. Мечковская Н.Б. Язык и религия / Н.Б. Мечковская. – Москва, 1998. – 352 с.
135. Мещерский Н.А. История русского литературного языка / Н.А. Мещерский. – Ленинград, 1985. – 280 с.
136. Москальская О.И. История немецкого языка : учебное пособие / О.И. Москальская. – Москва, 2003. – 288 с.
137. Мунипов В.М. Эргономика: человекоориентированное проектирование техники, программных средств и среды : учебник / В.М. Мунипов, В.П. Зинченко. – Москва, 2001. – 356 с.
138. Невзоров А.Г. Происхождение личности и интеллекта человека. Опыт обобщения данных классической нейрофизиологии / А.Г. Невзоров. – Санкт-Петербург, 2012. – 544 с.
139. Падучева Е.В. Нестандартные отрицания в русском языке: внешнее, смещённое, глобальное, радикальное / Е.В. Падучева // Вопросы языкознания. – 2014. – № 5. – С. 3–23.
140. Передерин В.М. Из опыта семейного врача / В.М. Передерин. – Москва, 2007. – 272 с.
141. Перепись 2010 – Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года в отношении демографических и социально-экономических характеристик отдельных национальностей. Том 4. Владение языками населением по субъектам Российской Федерации // Федеральная служба государственной статистики. – URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/results2.html.
142. Пермяков Г.Л. Основы структурной паремиологии / Г.Л. Пермяков. – Москва, 1988. – 240 с.
143. Пермяков Г.Л. От поговорки до сказки (Заметки по общей теории клише) / Г.Л. Пермяков. – Москва, 1970. – 240 с.
144. Пинкер С. Язык как инстинкт / С. Пинкер. – Москва, 2009. – 456 с.
145. Платонов К.К. Структура и развитие личности / К.К. Платонов. – Москва, 1986. – 256 с.

146. Поликарпов А.А. Циклические процессы в становлении лексической системы языка: моделирование и эксперимент : дис. ... док. филол. наук : 10.02.19 / А.А. Поликарпов. – Москва, 1998. – 347 с.
147. Рамачандран В.С. Рождение разума. Загадки нашего сознания / В.С. Рамачандран. – Москва, 2006. – 224 с.
148. Реформатский А.А. Введение в языкознание / А.А. Реформатский ; под. ред. В.А. Виноградова. – Москва, 1996. – 536 с.
149. Роттердамский Э. Похвала глупости / Э. Роттердамский. – Москва, 1960. – 168 с.
150. Русакова О.Ф. Основные теоретико-методологические подходы к интерпретации дискурса / О.Ф. Русакова // Научный ежегодник Института философии и права УрО РАН. – 2007. – № 7. – С. 5–34.
151. Рюмина-Сыркашева Л.Т. Телеут-орус сӧзлик / Л.Т. Рюмина-Сыркашева, Н.А. Кучигашева. – Кемерово, 1995. – 120 с.
152. Савельев С.В. Нищета мозга / С.В. Савельев. – Москва, 2014. – 192 с.
153. Савельев С.В. Общество изгоняет умных / С.В. Савельев. – Harvard Business Review, 2012. – URL: http://www.hbr-russia.ru/biznes-i-obshchestvo/ fenomeny/a11262.
154. Савельев С.В. Церебральный сортинг / С.В. Савельев. – Москва, 2016. – 232 с.
155. Семенюк Н.Н. Формирование литературных норм и типы кодификационных процессов / Н.Н. Семенюк // Языковая норма: типология нормализационных процессов. – Москва, 1996. – С. 23–44.
156. Серио П. Анализ дискурса во французской школе (дискурс и интердискурс) / П. Серио // Семиотика: Антология / сост. Ю.С. Степанов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва ; Екатеринбург, 2001. – С. 549–562.
157. Собчик Л.Н. Стандартизированный многофакторный метод исследования личности / Л.Н. Собчик. – Санкт-Петербург, 2000. – 219 с.
158. Солбриг О. Популяционная биология и эволюция / О. Солбриг, Д. Солбриг. – Москва, 1982. – 488 с.
159. Солнцев В.М. Язык как системно-структурное образование / В.М. Солнцев. – Москва, 1977. – 340 с.
160. Степанов Ю.С. Семиотика / Ю.С. Степанов. – Москва, 1971. – 168 с.
161. Сэпир Э. Язык и среда : избранные труды по языкознанию и культурологии / Э. Сэпир. – Москва, 1993. – С. 270–284.
162. Темнова Е.В. Современные подходы к изучению дискурса / Е.В. Темнова // Язык, сознание коммуникация. – 2004. – № 26. – 168 с.

163. Теплов Б.М. Психология : учебник для средней школы / Б.М. Теплов. – Москва, 1948. – 192 с.
164. Туманян Э.Г. О природе языковых изменений / Э.Г. Туманян // Вопросы языкознания. – 1999. – № 3. – С. 86–97.
165. Филичева Н.И. Немецкий литературный язык / Н.И. Филичева. – Москва, 1992. – 176 с.
166. Фреге Г. Логика и логическая семантика / Г. Фреге. – Москва, 2000. – 512 с.
167. Хоккетт Ч.Ф. Проблема языковых универсалий / Ч.Ф. Хоккетт // Новое в лингвистике. – 1970. – Вып. 5. – С. 45–76.
168. Чеснокова И.А. Жанровая специфика письма в будущее в англоязычном виртуальном дискурсе : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / И.А. Чеснокова. Тверь, 2016. – 22 с.
169. Чудинова В.П. Функциональная неграмотность – проблема развитых стран / В.П. Чудинова // Социологические исследования. – 1994. – № 3. – С. 98–102.
170. Швейцер А.Д. Введение в социолингвистику : учебное пособие / А.Д. Швейцер, Л.Б. Никольский. – Москва, 1978. – 216 с.
171. Шейгал Е.И. Семиотика политического дискурса / Е.И. Шейгал. – Москва, 2004. – 324 с.
172. Шепард Б.Л. Политика и применяемые практики в отношении абортов в Чили : неопределённости и дилеммы / Б.Л. Шепард, Л.К. Бисера // Проблемы репродуктивного здоровья. – 2007. – № 15 (30). – С. 54–63.
173. Щерба Л.В. Опыт общей теории лексикографии / Л.В. Щерба // Языковая система и речевая деятельность. – 1974. – 428 с.
174. Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию / У. Эко. – Санкт-Петребург, 1998. – 432 с.
175. Якубинский Л.П. Язык и его функционирование / Л.П. Якубинский. – Москва, 1986. – 206 с.
176. Ярцева В.Н. Развитие национального литературного английского языка / В.Н. Ярцева. – 2-е изд., испр. – Москва, 2004. – 288 с.

Научное издание

КОБЕНКО Юрий Викторович

ЯЗЫК И СРЕДА. ОПЫТ СИСТЕМАТИЗАЦИИ ДАННЫХ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Монография

Издано в авторской редакции

Компьютерная верстка

Дизайн обложки *А.И. Сидоренко*

Подписано к печати 10.03.2017. Формат 60x84/16. Бумага «Снегурочка».
Печать CANON. Усл. печ. л. 12,45. Уч.-изд. л. 11,26.
Заказ xx-17. Тираж 500 экз.

Издательство

ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ